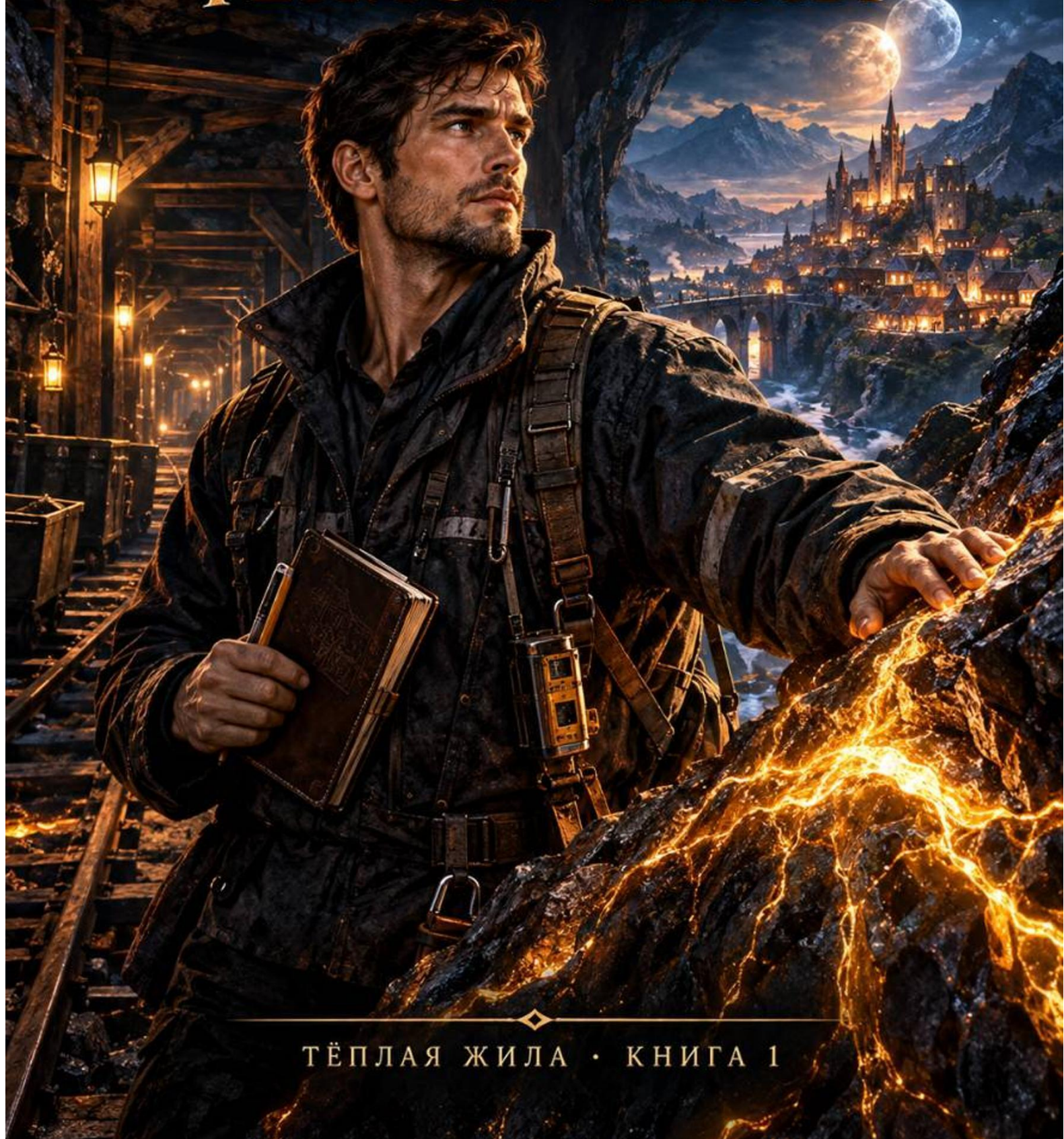


Роман Кубов

ИНЖЕНЕР ТЁПЛОЙ ЖИЛЫ



ТЁПЛАЯ ЖИЛА · КНИГА 1

Роман Кубов

Инженер тёплой жилы

«Автор»

2026

Кубов Р.

Инженер тёплой жилы / Р. Кубов — «Автор», 2026

Глеб Ветров двадцать лет спускался под землю и знает про шахту одно: кто считает, тот живой. Ночная смена, старый квершлаг, обвал - и он выходит из завала в другой мир. Здесь крепь ставят деревом, огневик греет избы, а шахта "Шестерня" кормит полкняжества. Здесь у Глеба нет бумаг, нет имени и нет ничего, кроме трёх дней поруки и тетради с карандашом. На шахту приходит ревизия: дом Зарницких сорок лет ждёт долг и готов забрать шахту в заклад. Ревизия меряет холодный камень и не меряет живой. А Глеб слышит то, чего не слышит никто: жила за закрытой плитой не спит, а кто-то выжимает из неё жар и уносит. Княжеская рудознатица Зждана требует доказательство, которое можно положить на стол. Под посёлком жила набирает, а над ней - двести дворов. До ночи, когда сойдутся две луны, тридцать девять дней. Успеет ли инженер дать жиле дорогу раньше, чем кто-то зажжёт очаг?

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Обвал	7
Глава 2. Порог	11
Глава 3. Косняк	15
Глава 4. Ревизия	19
Глава 5. Ладонь	23
Глава 6. Цена Искры	28
Глава 7. Строка из старого журнала	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Инженер тёплой жилы

Пролог

До обеда я сидел в кабинете главного инженера и доказывал, что старый квершлаг надо закрыть.

Доказывать пришлось долго, потому что доказывал я человеку, который в шахте не спускался одиннадцать лет. Его звали Виктор Андреевич, и он был хороший хозяйственник: он считал деньги, и он считал их правильно. А я считал крепь, и мы с ним говорили на разных языках.

- Глеб Андреич, - сказал он, - ты пойми. Горизонт четыреста двадцать - он же в плане. Он у нас в балансе.

- В балансе он потому, что его двадцать лет не списывали, - сказал я. - А по факту там третья стойка гнилая, девятая гнилая, а свод держится на честном слове и на том, что порода хорошая.

- Порода хорошая - вот и ладно.

- Порода хорошая до первого толчка, - сказал я. - А толчок будет. У нас за полгода три микро сеймики было.

- Микро, - сказал Виктор Андреевич. - Ты сам сказал - микро.

и я сообразил, что он прав и что спорить бесполезно, и потому я сделал то, что делал всегда, когда начальник не хочет слышать: я положил перед ним бумагу.

- Подпишите заявку на осмотр, - сказал я. - Я сам спущусь. Ночью, в смену. Посмотрю и доложу.

- А если там плохо?

- Если там плохо, - сказал я, - я напишу акт, и вы закроете горизонт. А если я не спущусь, то через полгода там будет обвал, и акт будет писать комиссия, и в акте будут фамилии. Моя в том числе.

Он глянул на меня поверх очков и сказал:

- Ты всегда был формалистом.

- Я инженер, - сказал я.

Он подписал.

Я вышел из кабинета, спустился в раздевалку, переоделся в робу - свою, старую, с застиранными светоотражающими полосами, - и поехал в шахту.

Вечер был обычный.

Я помню этот вечер подробно, и не потому, что он был последний, а потому, что он был ничем не примечательный: серое небо, мокрый снег, автобус, в котором пахло мокрой курткой, и дежурная, которая сказала мне "здорово, Глеб Андреич" и не спросила больше ничего, потому что спрашивать было не принято.

В ламповой я взял фонарь, проверил каску, положил в карман тетрадь - ту самую, мягкую, в клетку, с карандашом на шнурке. Тетрадь я носил двадцать лет и менял раз в год, и каждый раз покупал одинаковую, потому что привык.

Наряд был короткий: квершлаг четыреста двадцать, осмотр крепи, замеры, фото. Один человек. Всё.

Потом был ствол: клеть, восемь минут вниз, и привычное чувство, от которого у меня до сих пор холодеет в животе, хотя я спускался две тысячи раз. Чувство это знаю не я один: это то самое, что чувствует всякий, кто едет в лифте в подвал дома, в котором жил всю жизнь. Всё знакомо, и всё-таки снизу не видно.

У деда, который был проходчиком и который взял меня в шахту первый раз, когда мне было четырнадцать, было правило. Он говорил: "Глеб, шахта - она как женщина. Если ты её уважаешь, она тебе даст. А если ты её уважаешь только на словах - она тебе даст по голове". И ещё он говорил: "Считай. Считай всегда. Крепь, шаг, воздух, время. Кто считает, тот живой".

Я считал двадцать лет. И до сих пор не знаю, правду ли он говорил про женщин, - а вот про счёт он говорил правду.

Потом был штрек, и конвейер, и люди.

Я шёл и считал, потому что считать - это моя работа и моя привычка. Третья стойка ослаблена. Пятая держит. Седьмая держит. Девятая - снова нет. Я отметил девятую карандашом и подумал, что делать надо было не заявлять, а брать людей и менять стойку сегодня, но людей мне бы не дали, потому что у людей была норма на действующем забое.

И ещё я подумал - мельком, не задерживаясь, - что шахта сегодня молчит.

Я знал это чувство. Всякий, кто двадцать лет под землёй, знает: шахта всегда что-то говорит. Капает. Скрипит. Гудит конвейер где-то за поворотом. А когда она молчит - это плохо, хотя объяснить почему нельзя: просто плохо, и всё.

Я прошёл до конца квершлага, посветил в забой, потрогал крепь, записал в тетрадь три цифры и две фамилии, и повернул назад.

А на середине пути остановился и подумал: а что я, собственно, здесь делаю?

Вопрос этот был не про работу. Работу я любил. Он был про остальное.

Мне было тридцать четыре. Я был главный инженер шахты, которая работала хуже, чем могла, и знал я это лучше всех. У меня была квартира, в которой я бывал по четыре часа в сутки, и дача, на которой я не был два года. У меня была жена, и она умерла три года назад, и я до сих пор не научился спать один, хотя уже привык. У меня не было детей, и не было никого, кто бы ждал меня домой, кроме кота, которого кормила соседка.

И вот я стоял в мокром квершлагае, считал гнилые стойки и думал, что тридцать лет готовился к жизни, а жизнь прошла мимо, пока я готовился.

Потом я пошёл дальше.

А через десять метров порода вздохнула.

Я не успел ничего подумать. Я успел только сделать то, чему меня учили на первом курсе и что я повторял двадцать лет каждому новому проходчику: уйти к крепи и встать спиной к ней, потому что если пойдёт кровля, она ляжет на крепь и оставит полосу в полметра, в которой можно выжить.

Я ушёл к крепи.

А потом был грохот, и белый свет, и пыль, и я лежал на боку и слушал, как шахта молчит уже по-настоящему.

Вот это я и хочу сказать напоследок, прежде чем рассказывать всё остальное.

Я не герой. Я не искал приключений, и я не хотел ни в какие другие миры, и если бы кто-нибудь тогда, в раздевалке, сказал мне, что через час я окажусь под землёй, где нет ни одного знакомого предмета, - я бы сказал, что он сошёл с ума.

Я просто пошёл посмотреть крепь.

Потому что я подписал заявку.

А подписывать бумагу и не ходить смотреть - это не про меня.

Глава 1. Обвал

Обвал начался не с грохота, а с тишины.

Я стоял в старом квершлаге горизонта четырёхста двадцать и слушал, как шахта молчит. Так бывает перед плохим: вентиляционная струя тончает, конвейер где-то далеко гудит ровно, а порода молчит, хотя должна потрескивать. Я тогда подумал, что зря полез сюда в ночную смену. Но заявку на осмотр старого горизонта я сам же и подписал, а подписывать бумаги и не ходить смотреть - это не про меня.

На поверхности меня никто не ждал. Это не жалоба, это расклад: жена умерла три года назад, детей не было, из близких остался участок и тетрадь с пометками. Поэтому ночные смены я брал охотно. Ночью шахта честнее: меньше людей, меньше разговоров, больше породы, и порода ни от кого не требует, чтобы она была удобной. Я с ней в этом похож.

Крепь в квершлаг стояла ещё советская, местами заменённая, местами нет. Я шёл и считал стойки: третья от закладки ослаблена, пятая держит, седьмая держит, девятая - снова нет. Девятую я отметил карандашом в тетради и уже хотел разворачиваться, когда порода над головой издала звук. Не треск. Что-то вроде вздоха.

Дальше всё пошло быстро и правильно - в том смысле, что правильно было только одно: стоять у крепи, а не в середине выработки. Я стоял у крепи. Поэтому меня не расплющило сразу.

Потолок сел рывком, как садится крышка на кастрюлю. Воздух вышибло из квершлага за один удар, фонарь мотнулся и погас, а потом пришёл грохот. Грохот в шахте не похож ни на что на поверхности: он идёт не сверху, он идёт отовсюду, потому что порода проводит его в себя и отдаёт обратно. Я успел вжаться в нишу, где раньше стоял датчик метана, и эта ниша меня спасла. Потом по мне прошлось каменной волной, но не по всему - по касательной, и свет в голове на секунду стал белым.

Пока свет был белым, я успел подумать одну дурацкую мысль: что заявку на девятую стойку я теперь не подпишу. Потом свет стал чёрным, а потом - обычным, шахтным, с пылью.

Когда свет перестал быть белым, я лежал на боку. Вокруг была пыль. Она стояла такая, что луч налобного фонаря, который почему-то продолжал работать, упирался в неё через полметра и тонул.

Я полежал, проверяя себя. Руки работали. Ноги работали. Рёбра болели, но дышать давали. Значит, живой. Значит, надо думать дальше.

Первое: где я. Квершлаг за спиной был завален. Не обвалился - именно завален, плотно, я слышал, как за завалом оседают глыбы, и слышал этот звук так ясно, что понял: завал короткий, метр-полтора. Хорошая новость. Плохая новость была в том, что впереди, по ту сторону завала, остался участок, где мог быть человек. Один должен был быть. Митяев, проходчик, подавал заявку вместе со мной и пошёл к забою проветрить перемычку.

Второе: воздух. Воздух шёл. Тонко, со свистом, но шёл. Значит, струя не перекрыта, значит, завал не глухой. Значит, у меня есть время и есть чем дышать.

Я сел, достал из кармана тетрадь, по привычке проверил карандаш. Карандаш был цел. Тетрадь помялась, но страницы держались. Мелочь, а в голове от этой мелочи стало чуть тише.

- Митяев! - крикнул я.

Крик ушёл в пыль и вернулся ко мне. Ответа не было.

Я крикнул ещё раз и полез вдоль завала, нащупывая рукой, где он держится, а где живёт. Пальцы нашли щель, из которой тянуло воздухом, и я припал к ней ухом.

За завалом кто-то стонал. Не Митяев. Голос был не Митяев - тоньше, и слова были не русские. Я не понял слов. Я понял только, что живому за завалом плохо и что лежит он неглубоко, потому что слышно его было как из-за двери.

Вот тут и началась первая странность. Пока я прижимался ухом к щели, ладонь моя лежала на породе, и порода была тёплая. Не холодная, как должна быть порода на горизонте четыреста двадцать. Тёплая. Как стена дома, который топился весь день.

Я убрал руку и потрогал ещё раз. Тёплая.

Отложить это на потом было легко: у человека за завалом потом не будет.

- Эй! - крикнул я в щель. - Живой? Сколько вас?

Стон за завалом оборвался, и голос сказал что-то. Коротко. Две фразы. Я не понял ни одной, но понял тон: человек отвечал. Значит, в сознании.

Я выдохнул и начал думать как инженер, потому что больше мне в тот момент было нечем работать.

Завал короткий. Плотный. Разбирать сверху - долго и опасно: всё, что держится за разбираемый камень, пойдёт вниз. Значит, не разбирать, а проходить низом, под завалом, по почве, где порода целая. Щель с воздухом была справа от основного тела завала, у самой стенки. Там и идти.

Я снял куртку, остался в робе, взял с пояса складной нож, фонарь, моток капронового шнура. Всё остальное - домкрат, лом, аптечку - завалило вместе со штреком, и плакать по этому поводу было некогда.

Работа пошла. Сначала я выгребал мелочь руками, потом в ход пошёл обломок доски, который подвернулся под ноги, - им, как лопатой. Порода в этом месте была странная: не угольная, не сланцевая, какая-то зернистая, и снова тёплая, и держалась она хорошо, не сыпалась. Это было мне на руку. За полчаса я проделал лаз в человеческий рост, узкий, как труба, и полез в него головой вперёд.

За завалом было просторнее. Фонарь высветил выработку, и я замер.

Это была не наша выработка.

Я горный инженер. Я различаю крепь так же, как водитель различает марки машин, не думая. Наша крепь в квершлагге была металлическая, арочная, со стойками из спецпрофиля. То, что стояло передо мной, было деревом. Толстые брёвна в обхват, подогнанные друг к другу в замок, углы срезаны, стойки стоят на лежнях. Такую крепь я видел только в музее и на старых схемах, которые мне показывал дед, тоже шахтёр.

И пахло здесь не так. Не метаном, не пылью, не машинным маслом. Пахло тёплым камнем и чем-то вроде парафина.

На полу у дальней стойки лежал человек. Не Митяев. Маленький, в кожаной безрукавке поверх грубой рубахи, в шапке из войлока. Рядом валялась тележка на деревянных колёсах, перевёрнутая, с рассыпанной рудой. Руда в свете фонаря поблёскивала тускло-красным, как остывающие угли.

Человек смотрел на меня и говорил. Я снова не понял слов. Ни одного. Язык был не русский, не английский и никакой другой из тех, что я слышал в жизни.

- Тихо, - сказал я. - Лежи. Сейчас посмотрю.

И вот тут произошла вторая странность, которая потом, много позже, сложилась в объяснение. Но в тот момент я её не заметил, потому что мне было не до неё. Человек услышал меня. Кивнул. Перестал говорить и стал смотреть, как я его осматриваю.

Левая нога была прижата опрокинутой тележкой. Я уперся спиной в крепь, поддел тележку плечом и сдвинул. Человек зашипел. Нога осталась цела - сапог целый, кровь только из рассечённой щеки. Переломов не было видно, но встать он не смог: шатало, и глазаплыли. Контузия, решил я. Ушибы и контузия. Жить будет.

- Встать сможешь? - спросил я.

Он ответил. На этот раз я понял.

Не слова. Я понял смысл, как понимают смысл жеста. Он говорил, что не может идти, что нога отнялась, что светит мне в глаза - это "свет", а то, что гудит в породе, - это "жила

сердится". Слова пришли в голову уже готовыми, как приходят значения дорожных знаков. Я смотрел на его рот, видел, что он говорит другое, чужое, и одновременно знал, что он сказал.

Голова у меня после обвала была плохая, и я списал это на неё. Потом я много раз вспоминал этот момент и понимал, что списал зря.

- Обопрись, - сказал я. - До своих дойдём?

Он закивал и показал в темноту, за перевёрнутую тележку, туда, где выработка уходила под уклон.

Мы пошли. Вернее, пошёл я, а он повис на мне, как мешок с песком. Фонарь я зажал в зубах. Тёплая порода шла рядом со мной стеной, и чем дальше мы уходили от завала, тем теплее она становилась. На уровне лица я видел в ней прожилки той самой красноватой руды, и прожилки светились. Не отражали свет фонаря - светились сами, тускло, как угли в печи, когда их не шевелят.

Я шёл и считал. Это у меня тоже привычка: в незнакомой выработке считать шаги и примечать, где что стоит. Шагов через двести началась крепь поновее: те же брёвна, но подтёсаны иначе, в пазы вбиты клинья. Шагов через четыреста потянуло воздухом - настоящим, не щелевым. Где-то впереди был выход на действующую выработку.

По дороге я складывал то, что видел, и то, что знал, и сумма не сходилась. Вентиляция здесь была естественная: тёплый воздух сам тянул вверх, и тяга была сильная, потому что тёплый камень грел его лучше любого калорифера. Рельсы под тележку лежали узкие, деревянные шпалы пропитаны чем-то пахучим. Ни одного кабеля. Ни одного светильника. Лампы, которые я видел у Тихона на тележке, работали на масле. Так шахты работали сто лет назад, и нигде в мире, где я жил, они так работать не могли, потому что людей в таких шахтах убивает быстрее, чем они успевают выдать на-гора первую вагонетку.

А здесь пахло работой. Пахло недавно пролитым потом, деревом, тёплым камнем и - совсем слабо - дымом ламп. Шахта была живая.

Человек на моём плече вдруг дёрнулся и сказал длинную фразу. В голове у меня она разложилась так: "надзиратель будет ругаться, надзиратель скажет, что ты, Тихон, опять полез в старый штрек за рудой, и снимет с тебя три дня".

- Тихон, значит, - сказал я. - А я Глеб.

Он глянул на меня снизу вверх и сказал слово, которое я понял как "ладно". Потом подумал и добавил ещё, и я понял это так: "старый штрек не наш, старый штрек держит не надзиратель, и ходят туда только те, кому жить надоело".

- Учту, - сказал я. - А кому он принадлежит?

Тихон ответил. Слово было длинное, и в голове оно не разложилось до конца: то ли "княжна", то ли "княжество", то ли и то и другое вместе. Я запомнил его на слух и положил в тетрадь памяти, к девятой стойке. Туда же отправилась тёплая порода и светящаяся руда. Тетрадь памяти у меня хорошая: то, что в неё попало, оттуда уже не девается.

На голос пришли быстро. Сначала впереди мелькнул свет - не электрический, живой, дрожащий, как от лампы. Потом послышались крики, много голосов, и по выработке побежали люди с фонарями и с чем-то вроде носилок.

Тут бы мне и выдохнуть. Я дошёл, я привёл живого, дальше пусть разбираются свои.

Но свои разбираться начали не с Тихона.

Первый же человек, подбежавший к нам, - здоровый, рыжий, в кожаном фартуке, - остановился как вкопанный и уставился на меня. Потом на мою робу. Потом на фонарь у меня на каске, который продолжал гореть и которого в этом мире, по всей видимости, быть не могло. Потом снова на меня.

Он сказал фразу. В голове у меня она разложилась так: "кто ты, безбумажный, и почему ты в выработке, когда шахта на счёту".

- Я не из этой шахты, - сказал я. - Там обвал. В вашем штреке.

Слова пришли к нему в голову так же, как ко мне его. Я видел это по его лицу: он меня понял, и ему это не понравилось.

За рыжим подошли ещё. Шестеро. У двоих были короткие палки, и держали они их не как инструмент. Один, постарше, в длинном плаще поверх рабочей куртки, поднял лампу и стал меня разглядывать. Разглядывал он долго. Моя каска. Мой фонарь. Мой комбинезон со светоотражающими полосами. Моя тетрадь в кармане.

Рыжий тем временем уже ощупывал фонарь на моей каске. Трогал он его осторожно, двумя пальцами, как трогают незнакомую зверюшку. Фонарь горел ровно, без огня и без дыма, и это людям не нравилось. Один из шестерых, помоложе, переступил с ноги на ногу и сказал что-то негромко. Я понял это как "брось его в клеть, пока он не загорелся".

- Не загорится, - сказал я. - Он на батарее. Батарея сядет - он сам потухнет.

Получилось хуже, чем я думал: слово "батарея" в голове у них не разложилось, и молодой сжал палку крепче.

Человек в плаще поднял руку, и все замолчали. Видно было, что замолкают здесь по одному его жесту.

- Из-за грани, - сказал он наконец. Тихо. Себе.

И вот это я понял без перевода.

Порода вокруг была тёплая. Крепь стояла такая, что мои прадеды её не строили. Руда светилась, как угли. Люди говорили на языке, которого я не знал, и понимал я его так, как понимают сон.

А человек в длинном плаще смотрел на меня и ждал, что я скажу, и взгляд у него был не злой и не добрый. Такой взгляд бывает у людей, которые принимают решение и знают, что решать придётся быстро.

- Обвал, - повторил я. - Ваш штрек завалило. Я вывел одного. Там, возможно, есть ещё. Надо разбирать, пока порода не села вторично.

Я говорил с ним как с начальником, потому что двадцать лет в шахте учат одному: если рядом начальник, говори по делу, а документы потом.

Человек в плаще молчал. Потом коротко приказал - и люди с носилками побежали к Тихону, а рыжий перехватил палку поудобнее.

- Пойдёшь со мной, безбумажный, - сказал человек в плаще. - К надзирателю.

Я пошёл. Спорить было не о чем: я не знал, где я, что это за шахта и почему порода здесь тёплая, как живая. Надзиратель так надзиратель. Начальство везде одинаковое: сначала не верит, потом ругается, потом заставляет расписываться.

Перед тем как уйти, я обернулся. Выработка за спиной жила своим светом: красноватые прожилки в тёплом камне, брёвна крепи, которым на вид было двести лет, и ни одного следа машины, ни одного кабеля, ни одной знакомой железки.

В груди у меня что-то медленно встало на место. Не страх. Хуже. Понимание, что считать шаги и примечать крепь теперь придётся очень долго.

Я сунул руку в карман, нащупал тетрадь и карандаш. Карандаш был цел.

Шахта вокруг молчала. Но молчала она не так, как молчит наша шахта перед обвалом.

Она дышала.

Глава 2. Порог

Надзирателя звали Прохор, и сидел он в конторе при шахте так, как сидят надзиратели во все времена и во всех мирах: устало и с бумагами.

Контора была срублена из толстого леса, пахла смолой и гарью ламп. На стене висела доска с зарубками, и я машинально понял, что зарубки - это счёт: десятки и единицы, а над ними знак, похожий на шестерню. Шахта называлась "Шестерня", и знак был её. Над столом висела вторая доска, поменьше, и на ней было выжжено слово, которое я прочитал без перевода: "СЧЁТ".

Прохор был сухощав, лет пятидесяти, с седой щетиной и с тем лицом, на котором все решения уже приняты и почти все оказались плохими. Он глянул на меня, потом на рыжего, который меня привёл, потом на бумаги, которые перед ним лежали.

- Безбумажный, - сказал он. - Из старого штрека. При обвале.

Рыжий подтвердил. Я стоял и молчал, потому что двадцать лет научили меня простому правилу: когда тебя приводят к начальству, первым говорит тот, кто привёл. Начальство само решит, когда тебе открыть рот.

- Зовут как? - спросил Прохор.

- Глеб.

- Род? Артель? Княжий знак?

- Нет у меня рода. И знака нет. Я не из этих мест.

Прохор посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который сказал, что он не из этих мест, но не сказал главного.

- А из каких?

Я открыл рот и закрыл его. Ответ "из другого мира" хорош в книжке и плох в конторе, где решают, что с тобой делать. Поэтому я сказал правду, которую можно было сказать:

- Издалека. Очень. Шёл, попал под обвал в старом штреке, вывел вашего человека. Дальше вы знаете.

- Тихон живой? - спросил Прохор у рыжего.

- Живой. Кости целы. Головой приложился, но это пройдёт.

Прохор поворошил бумаги. Бумаги были не бумажные: тонкие дощечки в ладонь, с выжженными строками. Я увидел на верхней своё будущее, нарисованное крупно: слово "ГРАНЬ" и стрелку от него.

- Безбумажных в город не берут, - сказал Прохор. - Безбумажных сдают в казну, а казна сейчас занята. До казны безбумажные сидят в яме. Яма у нас одна, и она сырая. Или за грань, если сам хочет. За гранью, говорят, места много.

Я смотрел на дощечку и думал, что грань - это, судя по всему, не стена и не забор. Граница так граница. Сначала разберёмся, где мы, а потом решим, что с этим делать.

- Я хотел бы сначала понять, куда я попал, - сказал я. - Шахта чья? Город чей? Кто платит за работу?

Прохор усмехнулся. Усмешка у него была без веселья.

- Шахта княжеская, княжества Студёного. Город Студёнец, семь вёрст. Платит артель, в которую тебя возьмут, если возьмут. Не возьмёт никто - не заплатит никто. У нас тут, безбумажный, всё через поруку. Есть поручитель - есть человек. Нет поручителя - нет человека.

Дверь конторы открылась без стука, и вошёл человек, которого я потом много месяцев называл просто Косна.

Он был невысок, широк в плечах, лет ближе к шестидесяти, чем к пятидесяти, и нёс себя так, как носят себя люди, которые тридцать лет спускались в одну и ту же шахту и ни разу не спрашивали разрешения. Одет он был как все: кожаная безрукавка, войлочная шапка, сапоги

с подковками. Только на поясе у него висел не нож и не сумка, а короткая деревянная палка с железным наконечником, и я потом узнал, что эта палка называется надзор и что она даёт право стучать по крепи и по головам.

- Тихона смотрел? - спросил он вместо здравствуй.

- Смотрел, - сказал Прохор. - Живой.

- Это не Тихон живой, - сказал Косна. - Это его тот человек вытащил. - Он кивнул на меня. - Я с артелью шёл на смену, видел, как из старого штрека людей выносили. Рассказывай, безбумажный.

Я рассказал. Коротко и по делу: тишина перед обвалом, удар, завал, лаз низом по почве, крепь, человек под тележкой. Косна слушал и смотрел на мои руки. Потом прервал:

- Лаз низом. Почему не верхом?

- Верхом завал разбирают, когда за завалом никто не нужен, - сказал я. - А мне нужен был человек. Низом - два часа. Верхом - шесть, и порода пошла бы вниз.

- Кто тебя этому учил?

- Шахта.

Косна повернулся к Прохору.

- Я беру его в поруку.

Прохор поднял бровь.

- Ты в своём уме, надсмотрщик? Безбумажный. Из старого штрека. Ревизия через неделю.

- Ревизия через неделю, - согласился Косна. - А у меня в артели коногон ногу сломал, и Тихон теперь три дня будет головой трясти. Мне руки нужны. Он их мне даст. Три дня поруки, Прохор. Если через три дня он мне не понадобится - сдашь в казну. Если понадобится - оформишь как вольного работника. Уложение это позволяет, статья о поруке.

Я слушал и запоминал. Уложение. Статья о поруке. Вольный работник. Значит, здесь есть закон, и закон этот знают наизусть не только писари. Значит, с этой властью можно разговаривать.

Прохор смотрел на Косну долго. Потом достал чистую дощечку и стал выжигать в ней строки острым шильцем, накалившимся на лампе. Пахло горелым деревом.

- Глеб, - сказал он, не поднимая головы. - Без рода. Порука надсмотрщика Косны, артель "Шестерни", три дня. Испытательный забойщик. Норма - как у коногона, плата - две щепы в день. Обвал в старом штреке в книги не вносится. Ты понял последнюю строку?

- Понял, - сказал я. - Обвала не было.

- Молодец, - сказал Прохор. - Жаль, что безбумажный.

Он поставил на дощечку печать - шестерню - и протянул её Косне. На меня он больше не смотрел. Аудитория была окончена.

Насчёт того, почему обвала не было, я спрашивать не стал. Спрошу потом. У любого начальника есть дела, которые он не хочет вписывать в книги, и если ты задаёшь про них вопросы в первый день, второй день ты встречаешь уже без работы.

На поверхности меня догнал рассвет.

Я вышел из штольни и остановился. Надзирательская контора, срубы, навесы, клетки, конный двор - всё это было как у нас, и всё было не так. Дерево вместо металла. Лошади вместо конвейера. Лампы и факелы. И холмы вокруг: низкие, серые, в жёлтой осенней траве, а над холмами небо, и в небе - луна.

Луна была одна, и этого хватило бы. Рядом с ней, ниже и правее, стояла вторая, поменьше и бледнее, как недорисованная. Две луны в утреннем небе над шахтой.

Я смотрел на них и чувствовал, как внутри меня работает тот же механизм, который работал в завале: страх отдельно, расчёт отдельно. Страх говорил, что это сон или бред после

обвала. Расчёт отвечал, что бред не бывает таким подробным: вот доска с зарубками на стене, вот дым из трубы, вот лошадь фыркает, и пар у неё изо рта настоящий, и пахнет она лошадьё.

- Домой хочешь? - спросил Косна. Он стоял рядом и тоже смотрел на небо, но без интереса, как смотрят на небо люди, у которых небо всю жизнь одно и то же.

- Хочу, - сказал я. - Сначала разберусь, где я.

- Это правильно, - сказал Косна. - Кто сначала разбирается, тот дольше живёт. Пошли. Покажу тебе, где ты будешь спать и что ты будешь делать.

Артель "Шестерни" жила в длинном срубе у самой штольни. Внутри было двадцать нар, печь, два стола и запах, который ни с чем не спутаешь: пот, мокрая кожа, дым и еда. Человек пятнадцать сидели за столами и ели кашу. Когда мы вошли, ложки стучать перестали.

- Это Глеб, - сказал Косна. - Три дня на поруке. Кто его тронет без моего слова - будет иметь дело с надзором. Кто ему поможет - тому я не забуду. Радыш.

От стола поднялся человек, которого я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Ростом он был выше всех в срубе, плечи имел такие, что в дверной проём входил боком, и лицо у него было из тех лиц, которые в армии называют "не беспокоить". Бывший дружинник, понял я. Из дружинников уходят либо в могилу, либо в такие вот артели.

- Кладовую знаешь, - сказал Косна. - Дай ему место, ложку и работу.

Радыш кивнул, посмотрел на меня, и взгляд у него был спокойный, как у человека, который уже всё про всех понял.

- Безбумажный, - сказал он. Это не было оскорблением. Это было имя.

Кашу мне дали, и хлеб дали, и я ел, а артель смотрела. Смотрели по-разному: с любопытством, с опаской, двое - с открытой неприязнью. Я ел и думал, что еда - это тоже язык. Там, где тебя кормят, с тобой будут и разговаривать.

После каши Косна повёл меня в шахту показывать работу. По дороге он говорил, и говорил он коротко, как рубил:

- Правило первое. Шахта живёт счётом. Есть норма огневика на артель, есть сдача, есть плата. Норма - закон. Сдал норму - получил щепу. Не сдал - сидишь без щепы.

- Огневик, - повторил я. Слово было новое.

Косна остановился, поднял с земли камень размером с кулак и положил мне в ладонь. Камень был тёплый. Не нагретый на солнце - утро было холодное, и камни вокруг были холодные. Этот был тёплый сам по себе, ровным живым теплом.

- Огневик, - сказал Косна. - Камень, который держит тепло. В нём вся наша жизнь. Жила даёт тепло, огневик его копит, мы его берём и сдаём. Чем теплее огневик на вид, тем он дороже. Горячий огневик - гривна за воз. Холодный - ведро за воз. Понял разницу?

- Понял, - сказал я. - Жила - это то, что греет.

- Жила - это то, что греет, - подтвердил Косна. - Только не говори это громко. Жила у нас по документам не греет. По документам у нас выработка тёплой породы. А по жизни жила греет, жила дышит, и жила помнит. Это тебе потом расскажут. Или не расскажут. Зависит от того, кем ты тут станешь.

Мы подошли к устью штольни. В свете ламп блестели рельсы, и по рельсам шла вереница тележек, гружённых красноватым камнем. Люди в войлочных шапках толкали их молча и споры. Работа шла так, как идёт работа в любой шахте мира: тяжело, буднично, без разговоров.

Я смотрел на эту работу и понимал, что она моя. Не потому, что я её выбрал. Потому что я её умею. Двадцать лет я спускался под землю, и земля, в которую я попал, была другой, но работа в ней была та же самая. Держать кровлю. Вести воздух. Выводить людей. Считать.

- Два дня будешь коногоном, - сказал Косна. - Водить коней с возами, смотреть за рельсом, чинить, где сломано. На третий день посмотрю, что ты за человек, и решу, куда тебя ставить. Вопросы?

- Один, - сказал я. - Старый штрек. Почему его нет в книгах, и почему обвалов в нём не бывает?

Косна посмотрел на меня долгим взглядом. Потом сказал:

- Потому что старый штрек не наш. Он остался от тех, кто копал здесь до нас. А обвалов в нём не бывает потому, что ходят туда только дураки, а дураков шахта выбирает сама.

Он повернулся и пошёл к устью. Я пошёл за ним, и огневик, который он мне дал, лежал у меня в кармане и грел ладонь через ткань.

Ночью я не спал.

В бараке храпели. Печь остывала, и угли в ней дышали красным. Я лежал на нарах у окна, смотрел в темноту и раскладывал по полочкам то, что у меня было.

Было: шахта, артель, три дня поруки, две щепы в день, тёплый камень в кармане и язык, который я понимал, не зная. Не было: дома, документов, объяснения и ответа на вопрос, зачем порода в старом штреке тёплая, как кожа.

Я достал огневик и положил его на ладонь.

В темноте барака камень светился. Слабо, на самом краю видимости, но светился - и свет этот шёл изнутри, из глубины камня, красноватый и ровный. Я накрыл его второй ладонью. Тепло пошло в руки, и вместе с теплом пришло ощущение, которое я потом научился называть правильно, а в ту ночь назвал единственно возможным словом.

Пульс.

Камень лежал у меня в ладонях и пульсировал. Ровно. Неглубоко. Как бьётся сердце у большого зверя, когда зверь спит.

Я подержал его так до рассвета. К утру пульс стал тише, а потом пропал, и камень стал просто тёплым. Я положил его обратно в карман и подумал, что если это бред после обвала, то бред у меня с хорошим чувством ритма.

А если не бред, то камень живёт. И у жизни этой есть ритм.

И ритм этот я почему-то слышу.

Глава 3. Косняк

Лошадей в шахте звали не по именам, а по номерам, и я понял почему: имена им давали давно, а номера каждый год новые.

Работа коногона оказалась не про лошадей. Работа коногона оказалась про рельс. Конь - он простой: ему скажешь "тпру", он стоит; скажешь "пошёл", он идёт, и если по дороге его не бить, он даже не кусается. А вот рельс - это живой организм со скверным характером. Рельс гуляет от сырости, рельс проседает под грузом, рельс отходит от шпалы именно там, где тележку с огневиком ведёт конь в полную тягу, и тележка в этом месте сходит, и огневик сыплется, и надсмотрщик смотрит на тебя так, будто огневик этот сыплется из твоего кармана.

На второй день я починил стрелку у конного двора. Просто посмотрел на неё полчаса, потом взял молот, клин и кусок железа от старой шины и сделал так, чтобы стрелка не заедала. Косна постоял рядом, посмотрел и ушёл, ничего не сказав. Это была похвала: у Косны слова стоили дорого, и он их не раздавал.

На третий день я полез менять шпалы там, где рельс просел, и тут мне пригодилось всё, что я умел. Я не умел класть шпалы по-здешнему, топором и скобой. Я умел считать: куда ляжет груз, где пойдёт вода, где порода мягкая. Шпалы я клал по расчёту, и бригада, которая надо мной сначала посмеивалась, к вечеру смеяться перестала, потому что тележки на моём участке перестали скакать.

А в промежутках между рельсами я слушал шахту.

Шахта говорила со мной. Не словами - не надо думать, что я сошёл с ума. Она говорила тем, чем говорят все шахты: треском крепи, свистом воздуха, гулом породы, которая переносит вес с пласта на пласт. Обычный шахтёр слышит это и не слышит, как человек не слышит собственного дыхания. А я слышал, и с каждым днём слышал всё яснее. Треск в дальнем квершлаге я отличал от треска в ближнем. Гул под почвой я отличал от гула над кровлей. И был ещё один звук - очень низкий, на границе слуха, ровный, как ход хорошо смазанной машины, - и я не мог понять, откуда он идёт. Он шёл отовсюду.

Я спросил про него у Радыша, когда мы вдвоём грузили крепёжный лес.

- Слышишь гудение? - спросил я. - Низкое. Под почвой.

Радыш положил бревно, вытер ладони и прислушался. Слушал он долго и серьёзно, и лицо у него было такое, как у человека, который честно хочет помочь, но не понимает задачи.

- Нет, - сказал он. - Ничего не гудит.

- А если не слушать, а просто стоять?

Радыш постоял. Потом посмотрел на меня с той особой осторожностью, с которой смотрят на людей, после обвала говорящих лишнее.

- Глеб, - сказал он. - Ты если что слышишь - ты Косне скажи. А мне не говори. Я коногон.

Это был первый раз, когда мне сказали: то, что ты слышишь, - не для всех. Я запомнил.

Всё случилось на четвёртый день, под конец смены.

Я вёл пару гружёных тележек от забоя к конному двору. Конь шёл ровно, рельс под ногами был мой, проверенный, и думал я о том, что завтра Косна будет решать мою судьбу и что решать он её будет по тому, как я работал, а не по тому, как я говорил. Это была честная сделка, и она мне нравилась.

Сначала погасли лампы.

Не все и не сразу. Лампы в шахте горят на масле, и гаснут они от сквозняка: струя воздуха дунет - и пламя легло. Лампы легли одна за другой, как ложатся костяшки, начиная от дальнего штрека. А лампы в шахте без причины не ложатся. Лампы ложатся, когда воздух идёт туда, куда ему идти не положено.

Потом пришёл звук. Тот самый, низкий, который я слышал неделю, - только теперь он был не на границе слуха. Он прошёл под почвой, как проходит под землёй тяжёлый поезд, и рельс у меня под ногами зазвенел.

А потом ударило.

Удар был не над головой - сбоку, из дальнего штрека, из той его части, которую артель называла "вентиляционным квершлагом". Воздух метнулся по выработке так, что тележки качнулись на рельсах, и в наступившей темноте кто-то закричал.

Я бросил поводья и побежал на звук. Бежать в темноте по шахте нельзя - это я знал. Но я бежал, потому что кричали не от страха. Кричали от боли.

Вентиляционный квершлаг завалило не весь. Он был узкий, этот квершлаг, и порода в нём стояла хорошая, но крепь в нём ставили давно и из того леса, что подешевле. Я понял это за секунду, пока светил в завал фонарём: стойки сгнили у основания, лежни провисли, и порода, которой надоело держаться на честном слове, выбрала ночь.

Завалило двоих. Я слышал обоих. Один стонал близко, слева, из-под первой же обвалившейся стойки. Второй кричал дальше, из глубины, и кричал он не от боли - он кричал, что воздух кончается, и я сообразил, что второго завалило плотнее и что у него нет струи.

Вокруг меня уже были люди. Фонари, крики, толкотня. Кто-то сунулся разбирать завал сверху, и я схватил его за шиворот.

- Стой! Сверху пойдёт вниз! - крикнул я. - Кровля живая, слышишь треск?

Треск слышали все. Порода над завалом жила и потрескивала, как живёт порода над всяким свежим обвалом.

- Кто здесь старший? - крикнул я.

Старшего не было. Косна был наверху, в конторе, и до него было полчаса бега. А воздух у второго кончился сейчас.

Я взял командование сам. Это тоже шахтерская привычка: если рядом нет того, кто командует, командует тот, кто знает, что делать.

- Двое - крепи! - крикнул я. - Вон те стойки, косняком, под кровлю, не жалея! Если кровля сядет - нас всех тут похоронит. Трое - со мной, низом, вдоль стенки, по почве! Остальные - лес сюда и воду! Кто с лампой - свет на крепь, а не в глаза!

Косняк - это косая стойка, которая держит кровлю наискось, и ставится он там, где прямая уже не встает. Ставить косняк - это искусство. Я ставил их двадцать лет, и руки у меня помнили это лучше, чем голова. Люди вокруг были хорошие, рабочие, и они поняли главное: я знаю, что делаю. Кровлю мы взяли быстро - четыре косняка встали, как четыре ребра, и треск над головой стал тише.

Первого откопали за полчаса. У него была сломана рука и выбиты два пальца, но он был живой, и его унесли. Второй сидел в каменном мешке в двух метрах от нас, и струя к нему шла тонкая, через щель, и щель эта сужалась, потому что порода оседала.

- Держись! - крикнул я в щель. - Как тебя звать?

- Оська! - ответили из щели. Голос был хриплый. - Дяденька, я воздуха не чую!

- Воздух будет, - сказал я. - Ты мне вот что скажи: у тебя над головой крепь есть?

- Есть! Стойка одна!

- Целая?

- Целая, только трещит!

Я закрыл глаза и представил себе этот мешок так, как представлял его Оська: стойка, кровля, щель, оседающая порода. Потом открыл глаза.

- Слушай меня, Оська. Сейчас я буду стучать по стойке. Ты мне отвечай. Если стойка треснет - ложись под неё и закрой голову руками. Понял?

- Понял!

Я стукнул. Он ответил. Я начал разбирать завал с того края, где порода держалась на моей новой крепи, и разбирал так, чтобы каждый камень, который я вынимал, опирался на то, что я уже поставил. Это была работа на четверть часа, и она заняла у меня полтора, потому что порода оседала и приходилось ставить косняки на ходу. Руки у меня к концу онемели, и рубашка была мокрая, и фонарь сел наполовину.

Оську мы вытащили. Он был маленький, лет двадцати, весь в каменной пыли, и держался за щель руками до последней секунды, потому что не верил, что его отпускают. На руках у него были ссадины, а в остальном он был цел, и когда его вынесли на свет, он заплакал - тихо, без звука, как плачут мужчины, которым стыдно плакать.

Я сел на рельс. Меня трясло - не от страха, от работы. Так трясёт, когда отпустишь то, что держал на весу.

Косна прибежал через десять минут, запыхавшийся, с надзором в руке. За ним шёл Прохор, не запыхавшийся и злой.

- Кто командовал? - спросил Прохор с порога.

- Я командовал, - сказал Косна. Он даже не спросил, что случилось. Он посмотрел на косняки, на крепь, на Оську, которого уводили, и всё понял. - Я и отвечу.

- Ты отвечал, когда ставил гнилую крепь в вентиляционном квершлаг, - сказал Прохор.

- Ты отвечал, когда писал, что леса на замену нет. Ты отвечал, когда артель в этот квершлаг ходила. А теперь ты мне отвечаешь за то, что я пишу в книги. А в книги я пишу вот что: осадка породы. Не обвал. Осадка. Понял разницу?

- Понял, - сказал Косна. - Обвал - это счёт. Осадка - это ничего.

- Осадка - это ничего, - сказал Прохор. - Потому что через считанные дни ревизия, и если ревизия узнает, что на "Шестерне" обвалы, шахту закроют на счёт, а счёт у нас с тобой такой, что шахту закроют навсегда. Ты этого хочешь?

- Я хочу, чтобы у людей была крепь, - сказал Косна.

Косна сказал это негромко, и стоял он прямо, и палка-надзор висела у него на поясе, и я вдруг увидел, что Косна старше Прохора, и сильнее Прохора, и что Прохор его боится. Не как человека - как того, что за Косной стоит вся артель, и что артель эта работает, а без артели шахта стоит.

- Крепь будет, - сказал Прохор. - После ревизии. А до ревизии у нас осадка. И ещё, надсмотрщик. Штраф. За самовольные работы в аварийном квершлаг. Три гривны с артели.

Вот тут я и узнал, что гривна - это пятьдесят щеп, потому что рядом со мной кто-то из артели присвистнул: сто пятьдесят щеп. Полтора месяца работы коногона.

- Штраф за что? - спросил Косна.

- За самовольные работы.

- Самовольные работы вёл человек на поруке, - сказал Косна. - Испытательный забойщик. По Уложению за действия испытательного отвечает поручитель. Штраф пиши на меня.

Прохор смотрел на Косну. Косна смотрел на Прохора. Я сидел на рельсе и понимал, что сейчас решается не только моя судьба, и что Косна встал в эту стойку не из-за меня, а потому что иначе нельзя, - но мне от этого было почему-то тепло. Не как от огневика. Как от дома.

- На тебя так на тебя, - сказал Прохор. - Но имей в виду, надсмотрщик. Ревизор приедет из столицы, и ревизор будет спрашивать. Если про осадку спросит кто-нибудь лишний - ты сам знаешь, на кого падёт.

Он повернулся и ушёл, и артель стояла и молчала, потому что при Прохоре говорить было не принято.

Когда шаги стихли, ко мне подошёл Косна. Он постоял надо мной, как стоят над чертежом, который рассматривают впервые.

- Три дня прошли, - сказал он.

- Прошли, - сказал я.

- В казну я тебя не сдаю. Работаешь в артели до ревизии. Коногоном, но с оплатой крепильщика: три щепы в день. Потом посмотрим.

- Спасибо, - сказал я.

- Не за что, - сказал Косна. - Ты сегодня поставил четыре косняка и вынул двоих. Это не спасибо, это расчёт. - Он помолчал. - Где ты так ставить научился?

- В шахте, - сказал я. - У нас там все так ставят.

Косна покивал, как будто я ответил правильно. Потом сказал то, что я потом вспоминал не раз:

- У нас тут тоже все так ставили. Давно. До нас. Ты, Глеб, работаешь как те люди, которые эту шахту копали. Это плохо, потому что тех людей давно нет. А может, и хорошо.

Он ушёл. Я посидел ещё немного на рельсе, глядя, как артель разбирает мой завал и ставит новую крепь из свежего леса, который наконец привезли.

Потом пришёл Оська. Он шёл по рельсу неуклюже, вытирая лицо рукавом, и остановился напротив меня.

- Дяденька Глеб, - сказал он. - Спасибо.

- Не дяденька, - сказал я. - Я тебе в дядьки не гожусь, лет-то сколько?

- Восемнадцать.

- Вот и мне не дядька, - сказал я. - А за спасибо в шахте не платят. Запомни лучше: стойка трещит - уходи. Стойка молчит, а порода над ней дышит - уходи. Железо и дерево терпят, а ты нет.

- Запомню, - сказал Оська. Он помолчал. - А правда, что вы слышали завал раньше всех?

Я посмотрел на него. Смотрел он честно, без хитрости, и было ему восемнадцать лет, и жить ему хотелось сильно.

- Правда, - сказал я. - Только это не считается. В следующий раз уходи раньше, чем услышишь.

Оська кивнул и ушёл, а ко мне подсел Радыш. Он всегда садился так: молча и сразу по делу.

- Косна штраф заплатит сам, - сказал он. - Три гривны. У него есть. Он копил на дом в городе, хотел из артели выйти. Теперь не выйдет.

- Я отдам, - сказал я. - Я работал.

- Ты на поруке, - сказал Радыш. - У тебя своих три щепы в день. Косна это знает. Он не возьмёт. - Радыш помолчал. - Не кори себя. Косна сам выбрал. Он так всегда делает: выбирает, а потом несёт.

- Хороший человек, - сказал я.

- Хороший, - согласился Радыш. - Поэтому и надсмотрщик. Плохие у нас долго не держатся.

Огневик в кармане грелся. Я сунул туда руку и почувствовал: он пульсирует. Тихо, ровно, как билось сердце у большого зверя. И мне показалось - только показалось, - что бьётся он чуть быстрее, чем неделю назад.

Как будто шахта сегодня испугалась.

И как будто теперь ждёт, что будет дальше.

Глава 4. Ревизия

О том, что ревизия придёт сегодня, на шахте узнали ещё вчера вечером, и шахта провела ночь так, как проводят ночь перед проверкой все шахты мира: тихо и беспокойно.

Утром я сидел в бараке над кашей и слушал, как артель говорит про ревизию. Говорили все, а по сути не говорил никто: слова были про казну, про счёт, про дом Зарницких, а между слов ходило то, о чём говорить было не принято. Шахту заберут. Долг не выплатить. Глубокие горизонты пустые, а если пустые глубокие, то и вся "Шестерня" - пустоцвет, и тогда артель разгонят, а нас пошлют по другим шахтам, и хорошо если в княжестве, а то ведь и за грань могут.

- Глубокие не пустые, - сказал вдруг Косна. Он вошёл в барак незаметно, взял у кашевара миску и сел с краю. - Глубокие закрыты. Это разные вещи.

- А нам какая разница? - спросил кто-то из артели.

- Такая, что пустой горизонт списывают, - сказал Косна. - А закрытый ждут. Ревизор списать захочет, а я скажу: не пусто, а закрыто. Закрыто по уложению, сорок лет назад, и кем закрыто - про то в книгах записано. Пусть казна сначала прочитает, кто закрывал, а потом считает.

Артель помолчала. Потом Радыш спросил:

- А кто закрывал?

- Те, кого теперь нет, - сказал Косна. - Ешь кашу. Ревизия не любит, когда её встречают пустыми мисками.

Вот так я и узнал, что глубокие горизонты не пусты, а закрыты, и что закрыли их сорок лет назад те, кого теперь нет. Знание легло в тетрадь памяти рядом с тёплой породой и пульсом огневика, и тетрадь памяти у меня к этому дню стала уже толстая.

Ревизия пришла на шахту так, как приходит на шахту всякое начальство: сначала приехали люди с бумагами, потом приехал человек без бумаг, и именно его все начали бояться.

Людей с бумагами было трое. Писец в дорожном плаще, два помощника с мерными цепями и с ящиком, в котором звенело железо. Писец развернул на конторском столе свою бумагу - плотную, столичную, с водяным знаком, - и стал читать вслух, и читал он громко, чтобы слышала вся артель, потому что читал он не для Прохора и не для Косны. Он читал для нас.

- Указом казны Вересовой империи шахта "Шестерня" княжества Студёного ставится на счёт, - читал писец. - Счёт ведётся по долгам княжества перед домом Зарницких. Ревизии надлежит установить: состояние жилы, выработку, остаток руды и способность шахты платить. По итогам ревизии казна решает судьбу шахты. Таково уложение, и против уложения не идут.

Артель слушала молча. Я стоял с краю, у рельсов, потому что испытательным забойщикам стоять впереди не положено, и думал о том, что уложение - это хорошо. Уложение - это когда есть правила. Там, где есть правила, можно разговаривать.

Потом приехал человек без бумаг.

Его звали Радко Зарницкий, и он был из тех людей, про которых говорят: одет просто, а стоит дорого. Плащ на нём был тёмный, без украшений, сапоги без подков, чтобы не стучали, и весь он был какой-то бесшумный. Вошёл в контору тихо, поздоровался с Прохором первым - и сразу было видно, кто в конторе хозяин, хотя хозяином конторы он не был.

С ним был рудознатец. Этот был другой: крупный, в очках на цепочке, с бородкой клином, и звали его Увар. Увар нёс себя так, как носят себя люди, которые знают цену себе и цену всем остальным, и вторая цена им нравится больше первой.

Из конторы ревизия вышла на шахтный двор, и там уже стояла вся артель, потому что ревизия на шахте - это как суд: все знают, что решаться будет чужая судьба, а приходят смотреть свою.

Радко Зарницкий не стал говорить громко. Он сказал негромко, и люди сами подались ближе, чтобы слышать.

- Дом Зарницких не враг княжеству, - сказал он. - Дом Зарницких сорок лет ждёт свои деньги. Долг княжества - девять тысяч шестьсот гривен с процентами. Уговор был простой: долг возвращается добычей глубоких горизонтов. Сорок лет шахта говорит, что глубокие горизонты бедны. Мы приехали проверить, так ли это. Если так - мы забираем шахту в заклад и ждём дальше. Если нет - мы забираем шахту сейчас. Вот и вся ревизия.

Он сказал это ровно и ушёл в контору. А Увар остался и стал раздавать помощникам указания, и указания были короткие: мерить западное крыло, мерить нижний горизонт, мерить откаточный штрек.

Я слушал и запоминал. Западный горизонт я уже знал: я возил там лес два дня. Нижний горизонт знал по рассказам: там работали главные забои. А вот откаточный штрек Увар велел мерить тот, который шел вдоль старой выработки, - и вот это было странно.

- Девять тысяч шестьсот, - сказал Радыш тихо. Он стоял рядом со мной у тележки, и голос у него был ровный, но слова он цедил, как цедят то, что давно стоит поперёк горла. - Это по гривенке с каждого, кто в княжестве живёт, от младенца до старика. И по три гривны с каждого двора. Сорок лет платим.

- А что за долг? - спросил я. - Сорок лет назад.

- Выброс был, - сказал Радыш. - Малый. Сорок лет назад. Жила вспухла, нижний горизонт завалило, людей вывели не всех. Княжество заняло у Зарницких на работы и на семьи. С тех пор и платим. - Он помолчал. - Дед мой тогда погиб. На нижнем.

Больше он ничего не сказал, и я не спрашивал. У каждого шахтёра есть такой пласт: не верхний, который всем виден, а нижний, где лежат свои. К нижнему не лезут.

Мерили весь день. Я возил лес мимо замеров и видел, как это делается. Увар работал быстро и уверенно: мерная цепь, отвес, книга, в которую помощник писал цифры. Увар смотрел на породу, стучал по ней молотком, слушал и записывал. Работа была знакомая, и делал он её хорошо.

Плохо было другое.

Мерили они только то, что было бедно. Я видел это своими глазами, потому что три дня возил по этим штрекам лес и знал, где порода тёплая, а где холодная. В западном крыле, где жила шла жирно и огневик брали горячий, Увар поставил одну мерную точку. Одну. А на старом откаточном, где жила выдохлась лет десять назад и где теперь брали только холодный камень, точек было шесть.

Я не рудознатец. Я не умею считать запасы по камню. Но я умею смотреть, где у начальника интерес, и интерес у Увара был весь в холодном камне.

К середине дня я уже возил лес так, чтобы каждый круг проходить мимо замеров. Увар меня не замечал: коногон для рудознатца - это часть пейзажа, вроде рельса или стойки. А я смотрел. Смотрел, куда он ставит штыри для цепи. Смотрел, какие куски породы он берёт в мешочек на образцы. Образцы он брал из холодного откаточного, а мимо тёплого квершлага прошёл даже не повернув головы, хотя квершлаг этот грел воздух так, что пар стоял над почвой.

Один раз он всё-таки посмотрел на меня. Посмотрел коротко, поверх очков, как смотрят на рельс, который лежит не там, где положено, - и снова отвернулся к цепи. Я сделал вид, что поправляю упряжь, и повёл коня дальше.

К вечеру приехала она.

Я сначала увидел лошадь - хорошую, гнедую, с княжеским клеймом на сбруе. Потом увидел всадницу. Она была в дорожном плаще поверх рабочего платья, и плащ был запылён,

как у человека, который ехал не из города, а по делу. Лицо у неё было из тех лиц, которые запоминаются не красотой, а точностью: тонкие черты, светлые глаза, и выражение такое, будто она смотрит не на тебя, а на задачу, которую ты из себя представляешь.

Ей было лет тридцать. Может, чуть меньше. На поясе у неё висела сумка рудознатца - кожаная, с латунными застёжками, - и в руке она держала не плетё, а мерную цепь, смотанную в кольца.

- Ждана, - сказал рядом со мной Радыш. - Рудознатица. Дочка Мечислава. Мечислав у нас тут был главный по камню, пока не погиб. Теперь она.

- Чья она? - спросил я.

- Ничья, - сказал Радыш. - Княжеская по службе, а по себе ничья. Она с ревизией ездит, потому что без княжеского рудознатца ревизия недействительна. Уложение.

Ждана не стала заходить в контору. Она спешила, отдала лошадь конюху и пошла прямо к замерам, и шла она так, как ходят люди, которые знают, куда идут. Увар увидел её и перестал диктовать помощнику.

- Рудознатица княжества, - сказал он писцу. - Опоздали, милостивая государыня. Замеры начаты утром.

- Замеры начаты без рудознатца княжества, - сказала Ждана. - Значит, это не замеры. Это упражнение с цепью. Покажите книгу.

Увар подал ей книгу. Ждана листала её недолго. Я стоял с тележкой у рельсов и видел, как менялось её лицо: оно не менялось, оно становилось точнее. Так становится точнее лицо у человека, который нашёл в чертеже ошибку и теперь ищет, кто её сделал.

- Западный горизонт, - сказала она. - Одна точка.

- Запад пройден, - сказал Увар. - Пусто.

- Запад не пройден. Запад закрыт двадцать лет назад по уложению, а не пройден. Точка ставится на живую жилу, а не на закрытый горизонт. Где точки на нижнем?

- На нижнем работы, - сказал Увар. - Людей отрывать нельзя.

- Людей отрывать нельзя, - повторила Ждана. - А шесть точек на холодном откаточном ставить можно. Хорошо. Завтра я ставлю свои точки сама. Книга ваша мне не нужна.

Она повернулась и пошла, и Увар смотрел ей вслед с тем выражением, с которым смотрят на человека, который сломал удобную устроенную вещь.

Я пошёл за тележкой, и получилось так, что мы с ней поравнялись у конного двора. Она остановилась и посмотрела на меня так, как смотрела на книгу Увара.

- Ты смотрел на замеры весь день, - сказала она. Не спросила. Сказала.

- Смотрел, - сказал я.

- И что видел?

Я прикинул, сколько мне стоит говорить. Говорить лишнее ревизору из столицы - значит становиться фигурой в чужой игре. Но она была не из столицы. Она была княжеская. И она только что сломала Увару удобную вещь.

- Видел, что меряли холодный камень, - сказал я. - Шесть точек там, где огневик брали десять лет назад и бросили. И одна точка там, где жила живая. Если так считать запас, то запас выйдет маленький.

Она смотрела на меня. Потом сказала:

- Ты коногон?

- На поруке. Испытательный.

- Испытательный, который считает запас по теплу камня, - сказала она. - Как тебя зовут?

- Глеб.

- Ждана. - Она не подала руки. Она кивнула. - Если увидишь ещё что-нибудь про замеры - скажи Косне. Косна передаст мне. Прямо ко мне не ходи, пока ты на поруке. Уложение про безбумажных строее.

- Понял, - сказал я. - А книга Увара? Она ведь пойдёт в казну.

- Книга Увара пойдёт в казну, - сказала Зждана. - И моя пойдёт в казну. А казна читает обе и верит той, которая ей выгоднее. Так что, Глеб, не важно, какая книга правдивая. Важно, какая книга доказана. Запомни это.

Она ушла в контору, а я остался у конного двора и подумал, что за один день узнал про этот мир две вещи. Первая: здесь, как и у нас, правда без доказательства - это просто слова. Вторая: у ревизии есть враг, и враг этот меряет холодный камень.

Вечером я чинил стрелку у конного двора и увидел в окне конторы свет. Контора была уже заперта, но в окне горела лампа, и у окна стоял Увар и чертил. Чертил он на большом листе, прижимая углы камнями, и лампу поставил так, чтобы свет падал на лист ровно.

Я не собирался смотреть. Я чинил стрелку. Но стрелка была починена, а Увар чертил долго, и я смотрел, как он чертит, потому что смотреть на чужую работу интересно, а делать мне было больше нечего.

Увар рисовал план шахты. Я понял это по очертаниям: вот устье, вот откаточный, вот западное крыло. Рисовал он быстро, уверенно, и план ложился на лист правильно - я узнавал свои маршруты, рельсы, повороты, конный двор.

Потом он провёл линию на север.

Линия шла от нижнего горизонта, мимо старой выработки, туда, где, по моим расчётам, был сплошной массив. Я возил лес по северной дороге три дня. Я знал каждый поворот на ней. Никакого штрека там не было. Был забой, был квершлаг, была крепь, а штрека не было.

Увар провёл линию и написал над ней слово. Я не мог прочитать слово через окно, но видел, что слово короткое. Потом он свернул план, задул лампу и вышел из конторы через заднюю дверь.

Я стоял в темноте у стрелки и чувствовал, как огневик в кармане греет ладонь.

План с несуществующим штреком - это не ошибка. Ошибку делают, когда не знают. Увар знал, что мерил холодный камень. Увар знал, что точек мало. Увар знал, что Зждана права, и шёл против неё осознанно. Человек, который чертит несуществующий штрек на плане, который пойдёт в казну, делает не ошибку.

Он делает документ.

И мне почему-то казалось, что документ этот рисуют не ради девяти тысяч гривен долга.

Девять тысяч гривен - это просто деньги. А несуществующие штреки рисуют ради того, что дороже денег.

Глава 5. Ладонь

Косна пришёл ко мне на нары перед рассветом, когда барак спал самым крепким сном - тем, который бывает только перед побудкой.

- Оденся, - сказал он. - И тихо.

Мы вышли во двор. Утро было серое, с изморозью, и вторая луна ещё висела над холмами, бледная, как ноготь. Шахта молчала: смена начиналась через час, и час этот принадлежал нам.

Косна нёс лампу, завернутую в мешковину, чтобы не светила раньше времени, и моток верёвки. Я шёл за ним и не спрашивал, потому что Косна сам скажет, когда захочет, а если не захочет - спросить всё равно не поможет.

- Ты сказал вчера, что знаешь, где лес гнилой, - сказал он, когда мы отошли от барака. - И ты первый, кто поставил косняк за те годы, что я здесь надсмотрщиком. Мне нужен глаз, а не руки. Пойдём смотреть то, что ревизия не меряет.

- Закрытый горизонт, - сказал я.

Косна посмотрел на меня.

- Ты догадался вчера вечером?

- Нет. Вчера утром, когда вы сказали про закрытые горизонты. Вы не просто так это при нас сказали.

- Не просто так, - сказал Косна. - Это верно. Я тебя проверял.

- И?

- И ты один из артели поднял голову. Остальные ели кашу.

Мы подошли к устью штольни. Косна снял мешковину с лампы, и свет упал на рельсы, на мокрые стенки, на деревянную крепь, которая уходила вниз, в темноту, и уходила она так, как уходит лестница в колодец.

- Ты не был в шахте ночью, - сказал Косна.

- Был.

- Не в этой. - Он поправил лампу. - Слушай правило. Днём шахта работает и тебе подчиняется. Ночью шахта живёт и ты ей гость. Днём слышно людей. Ночью слышно камень. Не перебивай камень разговором.

Мы пошли вниз.

Спуск был долгий. Сто пятьдесят ступеней лестницы, потом уклон, потом опять ступени, и я считал их, потому что считать - это единственный способ не думать о том, что наверху уже светает и что если мы попадёмся, Косне конец, а мне хуже, чем Косне.

На глубине шахта становилась другой.

На верхних горизонтах порода была холодная: обычный камень, сырой и равнодушный. Здесь, внизу, она была тёплой. Не просто тёплой - она была разной температуры. В одном месте стенка грела ладонь, как печь. В двух шагах дальше она была чуть тёплой, как скамья на солнце. Ещё дальше - прохладная, и по ней шла тонкая трещина, и из трещины тянуло воздухом, который пах не пылью, а чем-то вроде сухого сена.

- Жила, - сказал Косна. - Идёт справа и вниз.

Я приложил ладонь к стенке.

Раньше я просто чувствовал тепло. В первый день - тепло. Во вторую ночь - пульс. А теперь я чувствовал направление.

Это трудно объяснить человеку, который не держал в руках работающий электромотор. Ты кладёшь ладонь на корпус - и знаешь, где крутится ротор, и знаешь, в какую сторону он крутится, хотя не видишь его и не слышишь. Тепло шло не отовсюду. Оно текло. Оно шло

по камню полосой, широкой в полметра, и текло сверху вниз и на север, и там, где оно текло плотнее, камень был горячее.

- Она течёт, - сказал я.

Косна остановился так резко, что лампа качнулась.

- Что?

- Тепло течёт, - сказал я. - Полосой. Сверху вниз и на север. Не греет со всех сторон, а идёт в одну сторону, как вода.

Косна смотрел на меня долго. Потом сказал тихо:

- Тепловей это называют "слушать жилу". Ты это слышишь без обучения?

- Я не знаю, что я слышу. Я слышу, что тепло идёт полосой. У вас это разве не у всех так?

- У нас это умеют трое на всё княжество, - сказал Косна. - И двое из них служат в столице.

- Кто такие тепловей? - спросил я.

Надсмотрщик не ответил сразу. Он шёл, держа лампу у бедра, и свет ходил по стенкам, и тёплая полоса в камне то появлялась, то пропадала за выступом.

- Тепловей - это человек, который слышит жилу, - сказал он наконец. - Не глазами и не ушами. Руками. Такой человек может сказать, где жила идёт, где она ложится, где она сердится. Ещё он может отвести тепло: если в забое печёт так, что людей выносит, тепловей ставит ладонь и уводит жар в сторону, в пустую породу. Работа опасная и короткая. Уложение про тепловеев есть, да толку мало: статья есть, а людей нет.

- Почему нет?

- Потому что жила за слух берёт плату, - сказал Косна. - У нас говорят: ступени. Первая - Искра. Человек начинает чувствовать тепло. Искра почти ничего не стоит. Вторая - Уголёк. Человек начинает чувствовать, куда тепло течёт. За Уголёк платят уже заметно. Третья - Пламя. Человек начинает тепло вести: брать и отводить. За Пламя платят жизнью, и жизнь эта короткая. А есть четвёртая, про неё только легенды - Очаг. Очаг это когда человек не ведёт тепло, а договаривается с жилой. Очага не было сто лет.

- Чем платят? - спросил я.

Тут он остановился, повернулся ко мне и поднял лампу так, чтобы свет падал мне в лицо.

- Ты спросил про цену раньше, чем про силу, - сказал он. - Это хорошо. Платят теплом своим. Человек ведёт чужой жар через себя, и жар этот выжигает в нём что-то, что не чинится. Уголёк съедает сон. Пламя съедает годы. Тепловей долго не живут: сорок лет - уже старик. А кто жадничает и ведёт много - тот горит. Говорят, красиво горит и недолго.

- Откуда вы столько знаете?

- Отец мой был тепловеем, - сказал Косна. - Угольком. Умер в пятьдесят два. Спал по два часа в сутки двадцать лет, пока сердце не сдало. Я не тепловей. Я просто шахтёр, который помнит, что отец говорил.

Он пошёл дальше, и я пошёл за ним, и огневик в кармане у меня был уже не просто тёплым, а горячим, и я впервые за всё время пожалел, что взял его с собой вниз.

У стенки надсмотрщик задержался ещё на минуту. Он смотрел на тёплую полосу, по которой я провёл ладонью, и лицо у него было такое, как будто он проверяет то, во что не верит. Потом он пошёл вперёд и больше про это не спрашивал.

Мы дошли до замурованного входа.

Это была дверь. Не деревянная, не железная - каменная плита, вставленная в проём и залитая по краям чем-то вроде цемента. Сделано было на совесть: я постучал по плите рукояткой молотка и понял, что плиту ставили надолго. На плите была надпись, высеченная глубоко, и Косна поднял лампу, чтобы я прочитал.

- "Закрыто по уложению", - прочитал я. - Княжества Студёного. Дальше даты и подписи. Чьи?

- Не читай подписи, - сказал Косна. - Подписи прочитаешь, когда тебе можно будет. А можно будет тебе, когда у тебя будет княжеский допуск, а допуск у тебя будет, если этот Зарницкий не заберёт шахту. А сейчас - смотри на камень.

Я смотрел на камень.

Плита была закрыта сорок лет назад, и за сорок лет по ней прошёл воздух, вода и время. Вода оставила на ней потёки. Воздух оставил на ней пыль. А время оставило знак.

Знак был на плите справа, в углу, там, где плита стыковалась с крепью, и выглядел он как круг, а в круге - отпечаток ладони. Пять пальцев, линия ладони, линия запястья, всё как положено. Высечено неглубоко, но старательно, и камень в углублениях знака был чище, чем вокруг, - как будто знак этот протирали рукой много раз.

- Кто это протёр? - спросил я.

- Не знаю, - сказал Косна. - Знак я видел, протирку - нет. Иди сюда, смотри вбок.

Он отвёл меня на десять шагов в сторону, туда, где штрек поворачивал, и показал на стену крепи. На бревне, на высоте груди, был такой же знак: круг, а в круге ладонь. Выжжен, а не высечен, и тоже чёткий.

- Их сколько? - спросил я.

- По всей шахте, - сказал Косна. - Я их тридцать лет собираю и сбился со счёта. На стойках, на лежнях, на плитах, на дверях. Всегда в одном месте: там, где человеку удобно положить руку. И всегда по правой стороне, если идти от устья вглубь.

- Что это значит?

- А вот это я и хочу узнать, - сказал Косна. - Сорок лет спрашиваю, и никто не знает. Старики говорят: знак хранителя. Хранитель жилы. Были такие люди при шахте, пока шахта была не княжеской, а своей. Они жилу слушали и знак ставили там, где жила слушается. А где жила не слушается - там знака нет.

- А где знака нет, там ходи осторожно, - сказал я.

Косна посмотрел на меня и впервые за всё время улыбнулся.

- Ты не такой дурак, - сказал он. - Пошли посмотреть, где знака нет.

Мы пошли по закрытому горизонту - вернее, по тому, что от него осталось доступным: обходной ход, который шёл параллельно плите и выходил к старому уклону.

и вот тут до меня дошло, зачем Косна взял меня с собой.

Ходил он по шахте так, как ходят по собственному двору: знал, где низко, где скользко, где ступенька сгнила. Но смотрел он не под ноги, а на крепь. Крепь на закрытом горизонте стояла старая, сухая, местами подтёсанная заново, и видно было, что кто-то здесь ходит регулярно и за кем-то здесь смотрят.

- Кто смотрит? - спросил я.

- Я смотрю, - сказал Косна. - И отец мой смотрел, и дед. Артель сюда не ходит - запрещено уложением, и за уложением следит Прохор, а Прохор следит за тем, за что платят. Он сюда не лезет, потому что здесь платить не за что.

- А вы лезете.

- Я лезу, - сказал Косна. - Потому что мой дед тут умер, и потому что мне снится, что я тут умру.

Он сказал это просто, без надрыва, как говорят про погоду, и я сообразил, что Косна не шутит и не храбрится.

Мы вышли к старому уклону. Уклон уходил вниз под сорок градусов, и вниз по нему шли рельсы, а по рельсам стояла - не валялась, а именно стояла - тележка. Колёса у неё были смазаны. Я потрогал ось: смазка была свежая.

- Сюда кто-то ходит, - сказал я. - Недавно.

- Ходят, - сказал Косна. - Вот тут я и хотел, чтобы ты посмотрел.

Он показал на крепь.

Крепь на этом участке была поставлена заново. Не сорок лет назад, не двадцать - недавно. Я видел это по дереву: брёвна были свежие, с неостывшей смолой, и подтёсаны они были не так, как тёсала артель, а иначе, мелко и аккуратно, чужим инструментом. И стояла эта крепь не как попало. Она шла ровной линией по левой стороне уклона, и линия эта вела вниз, туда, где, по моим расчётам, был массив, - туда, где на плане Увара был нарисован несуществующий штрек.

Знака на новой крепи не было. Круг с ладонью обрывался за двадцать шагов до неё и дальше не шёл.

- Вот, - сказал Косна. - Вот это я и нашёл месяц назад. Крепь чужая, свежая, и ведёт в массив. Я не полез: у меня ни допуска, ни людей, ни права. А теперь приехала ревизия, и ревизия рисует план, на котором этот ход есть.

- И ход нарисован как штрек, - сказал я. - А нарисован он как штрек потому, что его уже прошли.

Косна кивнул.

- Я так и думал. Только мне нужен был человек, который скажет это не "кажется", а "вижу". Ты сказал.

Я стоял у чужой крепи и чувствовал, как огневик в кармане греет ладонь, и греет он сильнее, чем наверху. Здесь, на глубине, он был горячий. Не тёплый - горячий, и пульс в нём был частый, как у загнанной лошади.

- Косна, - сказал я. - Здесь надо уходить. Сейчас.

- Почему?

- Потому что камень здесь горячий не в меру. И потому что крепь чужая. И потому что мы с вами стоим там, где по уложению ходить нельзя, а за уложением следят не только Прохором.

Косна посмотрел на меня, потом на крепь, потом на плиту с ладонью, которая осталась у нас за спиной.

- Уйдём, - сказал он. - Только сначала ты мне ответь. Ты сказал: тепло течёт. Куда оно течёт здесь?

Я закрыл глаза и положил ладонь на бревно чужой крепи.

Тепло шло полосой. Оно шло мимо нас, вниз, за чужую крепь, туда, где массив. И шло оно слишком быстро. В шахте, где я работал двадцать лет, мы меряли температуру породы каждые сутки, и я знал правило: если порода теплеет на градус за сутки - это тревога, а если на три - это эвакуация. Здесь было не так. Здесь не было градусов. Здесь было ощущение, которое я не мог измерить, но мог сравнить: как если бы за стеной включили печь, которую не топили сорок лет.

- Оно течёт туда, - сказал я, показав на чужую крепь. - И оно прибывает. Здесь неделю назад было холоднее.

- Откуда ты знаешь?

- Потому что смазка на оси свежая, а смола на брёвнах ещё липкая. Значит, здесь были на днях. И потому что если бы здесь было так горячо месяц назад, как вы сюда первый раз пришли, вы бы сюда второй раз не полезли.

Косна долго смотрел на меня в свете лампы. Потом сказал:

- Пошли наверх. И если кто спросит, мы были на старом откаточном, считали лес. Понял?

- Понял, - сказал я. - На старом откаточном.

Мы пошли обратно. У плиты с ладонью Косна остановился и положил на знак руку - так, как кладут руку на перила, за которые держатся.

- Сорок лет, - сказал он. - Сорок лет я сюда хожу и не знаю, что это.

- А что говорит уложение про хранителей? - спросил я.

- Ничего, - сказал Косна. - Уложение про них молчит. Уложение вообще про жилу молчит. Там написано "выработка тёплой породы". А хранители - это не уложение. Это память.

Мы вышли наверх, когда шахта уже проснулась: стучали тележки, кричали люди, и сменный десятник ругался на коногонов. Никто не заметил, что нас не было.

Косна пошёл в контору. Я пошёл к лошадям.

У конного двора меня ждал Увар.

Он стоял, опираясь на посох, и смотрел не на меня, а на мою одежду: на робу, на грязные руки, на сапоги, по которым было видно, где я ходил. Смотрел он долго, и в этом не было ничего случайного. Рудознатец смотрит на грязь на сапогах так же, как я смотрю на трещину в крепи.

- Коногон, - сказал он. - Рано ты сегодня.

- Работа ранняя, - сказал я.

- И грязная, - сказал Увар. - У нас на шахте грязь разная. Есть грязь с откаточного: серая, пыльная, в ней песок. А есть грязь с нижних горизонтов: в ней копоть ламп и смола свежего дерева. Ты понимаешь, о чём я?

- Понимаю, - сказал я. - Вы хотите знать, где я был.

- Я хочу знать, где ты был, - согласился Увар. - Потому что нижние горизонты закрыты уложением, и я, как человек, который ведёт ревизию по уложению, обязан спросить.

Он улыбался. Улыбка у него была вежливая, и мне она не понравилась больше, чем если бы он не улыбался.

- Я был на старом откаточном, - сказал я. - Считал лес для косняков. Гнилую крепь выявляли после осадки, надсмотрщик велел.

- Надсмотрщик Косна?

- Он самый.

- Он самый, - повторил Увар. - А я видел сегодня надсмотрщика Косну в конторе, и сапоги у него были чистые. Он с утра не спускался, коногон. Он с утра пил в конторе чай с писцом. Я сам его видел.

Я промолчал. Врать человеку, который уже знает, - занятие безнадёжное, а врать человеку, который хочет тебя поймать, - занятие глупое.

- Молчишь, - сказал Увар. - И правильно делаешь. Молчать полезно. Особенно человеку без бумаг, без рода и без поручителя, который может подтвердить, где он был этой ночью.

- Поручитель у меня есть, - сказал я.

- На три дня, - сказал Увар. - Ревизия идёт дольше трёх дней. Через три дня порука кончится, и ты будешь безбумажным, который ночью ходил по закрытому горизонту. А это, коногон, уже не шахтное дело. Это дело казны.

Он постучал посохом по земле, развернулся и пошёл к конторе. А я стоял у конного двора и понимал, что он прав в главном: у меня есть три дня, а ревизия идёт дольше, и что Увар только что показал мне, где у меня самое тонкое место.

Не в шахте. В бумаге.

И по дороге я понял, что теперь у меня есть две вещи, которых не было вчера.

Первая: знаю, что чужой штрек существует не только на бумаге.

Вторая: знаю, что знак ладони обрывается ровно там, где начинается чужой штрек.

А если знак ставили там, где жила слушается, то за чужой крепью она не слушается никого.

И туда её кто-то ведёт.

Глава 6. Цена Искры

Утром меня вызвали в контору. Прохор сидел за столом, листал свои дощечки и делал вид, что меня не замечает. Косна стоял у окна.

- Поручка кончается сегодня, - сказал Прохор, не поднимая головы. - Три дня прошло. По уложению я обязан сегодня решить: вольный ты работник или безбумажный.

- И какое решение? - спросил я.

- Решение такое, - сказал Прохор. - Вольного работника из безбумажного делает княжеский писец, а писец придет с ревизией и будет здесь два дня. До его приезда я тебя оформляю на поручку повторно, ещё на три дня. По уложению можно: поручка продлевается, если поручитель не отказался. Отказался ли ты, надсмотрщик?

- Не отказался, - сказал Косна.

- Записываю: не отказался, - сказал Прохор и стал выжигать на дощечке строки.

Пока он выжигал, я смотрел на него и думал, что человечество, при всех его различиях, удивительно однообразно в том, что касается бумаг. Надзиратель, который не хочет брать на себя лишнее, делает это всегда одинаково: не решает, а продлевает. И продлевает он ровно настолько, чтобы решение принял кто-то другой.

- А если писец не придет? - спросил я.

Прохор поднял голову.

- Придет. Ревизия без писца - не ревизия. А если не придет - пойдёшь в яму. У меня яма одна и сырая, я уже говорил.

- Он говорил, - подтвердил Косна. - Я тоже там сидел, двадцать лет назад. Недели хватило.

- Ты, надсмотрщик, сидел за драку, - сказал Прохор.

- За драку, - согласился Косна. - А теперь сажают за бумагу. Прогресс.

Мы вышли из конторы. На дворе Косна остановился и сказал:

- Хваль сегодня с тобой в седьмом. Смотри за ним.

- А что с ним?

- Не знаю, - сказал Косна. - Знаю, что когда человек девять лет работает хорошо и ни разу не просит прибавки - это не человек, это должность. Иди.

На второй день после ночного спуска я работал в забое на нижнем рабочем горизонте и впервые за этот месяц делал то, для чего меня сюда взяли: не возил, не чинил, а брал камень.

Забой назывался "седьмой", и был он старый, длинный и неудобный: жила в нём шла узко, полосой в четверть метра, и брать её приходилось лежа на боку, потому что высота выработки была метр десять. Работали в нём втроём: я, Оська и ещё один - пожилой, молчаливый, по имени Хваль.

Хваль мне не нравился с первого дня. Не скажу, что он был плохой работник: работал он хорошо и споро, со сноровкой человека, который тридцать лет машет одним и тем же молотком. Но всё в нём было не про работу. Он первым замолкал, когда входил Косна. Он первым поднимал голову, когда во двор въезжал кто-то чужой. И он дважды за смену уходил "по нужде" в сторону старого откаточного, откуда возвращался не через десять минут, а через полчаса.

В тот день мы работали с утра, и к полудню стало печь.

В забое печёт всегда: жила рядом, порода тёплая, воздух стоит. Но есть "печёт" и есть "печёт". К полудню рубаха у меня прилипла к спине, Оська сел и сказал, что у него в глазах рябит.

- Воды, - сказал я. - И наверх, на десять минут. Живой забой не стоит мёртвого забойщика.

Оська полез наверх. Хваль остался. И вот тут я сделал то, что делал всю жизнь: приложил ладонь к стенке забоя и послушал.

Тепло шло полосой. Оно шло, как и внизу, сверху вниз и на север, и шло оно ровно, без рывков. Но за последний час в нём появилось что-то новое: не прибавка, а дрожь. Как будто в трубе, по которой течёт вода, где-то прикрыли задвижку, и труба начала гудеть.

Я не знал, что это значит. Я знал одно: так не должно быть.

- Хваль, - сказал я. - Выходи.

- С нормой не выйдем, - сказал он, не оборачиваясь.

- Хваль. Выходи.

Он обернулся, и я увидел, что он не спорит. Он ждёт. Ждёт чего-то, и ждёт он не от меня.

Вот тут я впервые по-настоящему испугался. Не за себя - за то, что человек в забое знает про дрожь больше, чем я, и остаётся.

- Порода дрожит, - сказал я. - Ты слышишь?

- Слышу, - сказал Хваль. - У меня уши есть.

- И?

- И ничего. Дрожит и дрожит. Жила дышит.

Я схватил его за плечо и потянул к выходу, и он пошёл - не сопротивляясь, но и не помогая, как идёт мешок. Мы прошли десять метров. Пятнадцать. Дрожь в камне нарастала, и нарастала она не в стенке, а в почве под ногами.

Потом за спиной у нас хлопнуло.

Не грохот - хлопок. Как если бы в бочку ударили ладонью. Воздух метнулся по забою нам в спины, и нас бросило вперёд, на рельс.

Я упал на правую руку. Упал неудачно: ладонь подвернулась, и по ней прошёл край рельса, острый, как нож. Боли я сначала не почувствовал - почувствовал тепло, много тепла, и оно было не от камня.

Оська, который как раз спускался с водой, закричал. Хваль вскочил первым и побежал наверх, не оборачиваясь.

Я лежал на рельсе, смотрел на свою правую ладонь и видел, что рукавица пропиталась кровью и что кровь идёт быстро. Из кармана у меня выпал огневик, и он покатился по почве, и светился он так, как не светился никогда: как уголёк, на который дуют.

- Оська! - крикнул я. - Слушай меня. Жгут. Из рубахи. Выше локтя, тяни, пока я считаю. Раз, два, три...

Мальчишка сделал всё правильно. Руки у него дрожали, голос срывался, но жгут он затащил туго и считал вслух, и я слышал, как он считает, и по счёту понимал, что он держится.

Потом прибежали. Косна был первым - не запыхавшийся, бледный, и в руках у него был надзор, а не аптечка.

- Живой? - спросил он.

- Живой, - сказал я. - Рука. Рельсом.

Косна размотал жгут, посмотрел, затащил обратно и сказал сквозь зубы:

- Хваль, где?

- Убежал, - сказал Оська. - Он его за плечо тащил, а он...

- Видел, - сказал Косна. - Ладно. Неси его наверх. Я сам.

Он взвалил меня на плечо, как мешок с огневиком, и пошёл по штреку. Шёл он быстро, и я, вися у него на спине, видел кровь на рельсах за нами, ровную дорожку, и думал не про кровь, а про то, что Косне шестьдесят и что нести меня ему тяжело, а он несёт и не останавливается.

Наверху меня положили на стол в конторе. Было больно, и было противно: противнее всего было то, что резаную ладонь надо было мыть, а мыть её было нечем, кроме как водой из ведра, и вода в ведре была шахтная.

Потом пришла она.

Зждана вошла без стука, с сумкой рудознатца, и лицо у неё было таким, как у человека, который пришёл работать, а не утешать.

- Покажи руку, - сказала она.

Я показал.

- Глубокая, - сказала она. - До сухожилия, кажется, не дошло. Повезло. - Он глянул на меня. - Где ты был, когда это случилось?

- В седьмом забое.

- Ты слышал дрожь?

Я не успел соврать. Она спросила так, как спрашивают о том, что уже знают.

- Слышал, - сказал я.

- И что ты сделал?

- Потянул Хваль на выход.

- А Хваль?

- Хваль знал, - сказал я. - Он оставался. Он ждал.

Рудознатица промыла рану чем-то жгучим и перевязала. Руки у неё были сильные и точные, и работала она молча, и я видел, что она думает о чём-то своём, и думает быстро.

- Хваль работает в артели девять лет, - сказала она наконец. - Пришёл из города, из мелких, без рекомендации. Косна его брал. Он не из здешних.

- Вы его проверяли?

- Я не полиция, - сказала Зждана. - Я рудознатица. Я камень считаю. Но я тебе скажу вот что. - Она затянула узел. - Дрожь в седьмом забое не от жилы. Жила так не дышит. Дрожь идёт снизу, из массива, и приходит она не сама.

- Наведённая, - сказал я.

Рудознатица подняла голову.

- Откуда ты знаешь это слово?

- Не знаю, - сказал я. - Сказал.

- Наведённая, - повторила Зждана. - Да. Это правильное слово, и его здесь почти никто не знает. - Она помолчала. - У тебя температура есть?

- Нет.

- Будет. Рана грязная. Неделю руку не трогать. Левую береги: ей работать придётся.

Она собрала сумку и пошла к двери, и у двери остановилась.

- Глеб, - сказала она. - Ты слышишь жилу. Я это вижу по тому, как ты про замеры говорил, и по тому, что ты в седьмом услышал. У тебя Искра, и она у тебя с первого дня, без обучения. Это бывает раз в поколение, и это всегда плохо кончается для того, у кого бывает.

- Почему плохо?

- Потому что Искра без Уголька - это человек, который слышит пожар и не знает, куда бежать, - сказала Зждана. - А Уголёк без учителя - это человек, который сам себя сжигает. У нас учитель один на княжество, и он в столице. Тебе повезло: ты инженер, ты умеешь считать. Считай. И не веди тепло, пока не поймёшь цену. Понял?

- Понял, - сказал я. - Не вести.

- Не вести, - подтвердила она. - А если поведёшь - считай, что я тебя предупреждала.

Она ушла. Я лежал на столе в конторе, с перевязанной правой рукой, и смотрел в потолок, по которому ходили отсветы лампы.

Вот что я знал к вечеру этого дня.

Первое: дрожь в седьмом забое была не от жилы. Она приходила снизу, из массива, туда, где на плане Увара был нарисован несуществующий штрек.

Второе: Хваль знал, что она придёт, и оставался.

Третье: слово "наведённая" я произнёс сам, не зная его. Как и слово "батарея" - не его. Как и то, что тепло течёт полосой, - не его.

В голове у меня всё это уже не складывалось, и я перестал складывать. Я просто держал facts, как держат на складе мешки: пока не знаешь, что с ними делать, - держи, не распаковывай.

Вечером, когда стемнело, я пошёл смотреть, куда ходит Хваль.

Глупость это была известная: человек с распоротой ладонью, без бумаг, на чужой шахте, ночью, один. Я это понимал. Но у меня было преимущество, которого у меня не было ни разу в жизни: я знал, что Хваль меня не ждёт. Человек, который оставил тебя в забое под дрожащей породой, уверен, что ты либо мёртв, либо лежишь и смотришь в потолок. О третьем варианте он не подумает.

Я обошёл барак, прошёл мимо кучи крепёжного леса и сел на корточки за штабелем у старого откаточного - там, где Хваль "ходил по нужде" дважды за смену.

Ждать пришлось недолго.

Хваль пришёл один. Он шёл быстро, не оглядываясь, и в руке у него была лампа, прикрытая полкой. У входа в старый откаточный он остановился и дважды стукнул по стойке - не громко, но слышно, и стукнул он как-то по-особенному: два коротких и один длинный.

Из темноты ответили.

Человека я не увидел. Плащ, капюшон, рост - всё как у того, в плаще, который вёл меня к Прохору в первый день, и я сообразил, что людей в плащах на этой шахте двое и что второй - не Увар.

Они говорили тихо. Я подобрался ближе, насколько позволила рука, и уловил полфразы, и этой полужафры хватило.

- ...ещё сутки, - говорил голос из темноты. - Ревизия должна увидеть последнюю точку.

- Он слышит, - сказал Хваль. - Он камень слышит. Он сегодня вытащил меня из-под неё.

- Кто?

- Безбумажный.

Пауза. Потом голос сказал то, от чего у меня на затылке поднялись волосы:

- Тогда он сгорит сам. Не мешай.

Дальше я не слышал: они отошли в штрек. Я просидел за штабелем ещё четверть часа, но Хваль не вернулся, и голос ушёл с ним.

Я встал и пошёл в барак, и по дороге думал не про то, что Хваль стучит в стойку по условному стуку и ходит на свидания в плащах. Я думал про три слова.

"Он сгорит сам."

Это было не про топку и не про казнь. Это было сказано так, как говорят про тепловея, который ведёт больше, чем может. Про человека, который слышит камень и лезет туда, куда слышать не надо.

Они знали, что я слышу. И они не собирались мне мешать.

К вечеру следующего дня я понял, почему: услышать мало. Надо ещё суметь доказать, а доказательств у меня не было никаких.

Вечером в барак принёс огневик Оська. Он шёл по бараку, держа камень двумя руками, как держат живую птицу.

- Дяденька Глеб, он светился, - сказал он. - Когда вы упали, он светился, как уголь. Я подобрал. Он сейчас...

- Дай, - сказал я.

Я взял камень левой рукой. Он был тёплый. Обычный, рабочий, тёплый - такой, каким он был в первый день, когда Косна дал мне его на ладони у штольни. Никакого пульса. Никакого света.

- Он остыл, - сказал Оська. - Или испугался.

- Или выгорел, - сказал я.

Я положил камень под подушку, потому что больше его было некуда положить, и долго лежал без сна, слушая, как барак дышит, и думая о том, что Зждана сказала про цену.

Искра без Уголька - это человек, который слышит пожар, но не знает, куда бежать.

Я знал, куда бежать. У меня была инженерная привычка, которую я не терял двадцать лет: сначала мерить, потом решать. И я решил, что завтра начну мерить.

Только вот мерить мне предстояло не камень.

Мерить мне предстояло людей.

Потому что камень в этой шахте был честный. Он грел, он дрожал, он предупреждал. А Хваль стоял в забое и ждал, и это был не камень.

Глава 7. Строка из старого журнала

Правую руку я трогать не мог, поэтому на третий день меня поставили на ворота: крутить ручку подъёма у клетки, работой левой руки и ног. Работа эта на шахте считается лёгкой, а на самом деле она самая нудная из всех и самая ответственная: если человек на воротах отвлечётся, клетка идёт вниз быстрее, чем надо, и люди в ней не молятся, а матерятся.

Крутить было больно. Перевязка на ладони натягивалась, и к концу смены рука горела. Но крутить можно было одной левой, а думать - вообще без рук, и думал я весь день.

К полудню я составил список.

Список был короткий, и писал я его не на бумаге, а в голове, карандашом по той самой тетради памяти.

Первое. Ревизия меряет холодный камень и не меряет живой. Значит, ревизии нужен маленький запас.

Второе. На плане Увара нарисован штрек, которого нет. Значит, план делается под вывод, а вывод под план.

Третье. За закрытой плитой стоит чужая свежая крепь, и ведёт она туда же, куда нарисованный штрек. Значит, кто-то этот ход прошёл на самом деле, а не только на бумаге.

Четвёртое. Хваль знал, что забоем дрожит, и остался. Значит, дрожь эта - не природная, и люди её ждут.

Пятое. Дрожь идёт снизу, из массива, и Зждана называет её наведённой.

Пятое было главным, и лежало оно у меня в голове как гвоздь в сапоге: вроде и не мешает идти, а каждый шаг напоминает.

Наведённая дрожь - это дрожь, которую кто-то вызвал. В моём мире такую вещь делали просто: если ты хочешь, чтобы порода дрожала, ты её либо бьёшь, либо греешь, либо пускаешь по ней воду. Здесь, в мире тёплых жил, способ был четвёртый: навести тепло. И если ты наводишь тепло в массиве, которое сорок лет лежало закрытым, то рано или поздно оно найдёт, куда выйти.

А когда тепло, которое сорок лет держали за плитой, находит выход, - это называется выброс.

Сорок лет назад на "Шестерне" уже был выброс. Малый. Нижний горизонт завалило, людей вывели не всех, дед Радыша остался там навсегда, и княжество заняло девять тысяч шестьсот гривен у дома Зарницких, и платит до сих пор.

Я крутил ворот и думал, что история имеет обыкновение повторяться, особенно когда её повторяют люди, которым это выгодно.

Если шахту признают пустой, её забирают в заклад. Кто забирает? Дом Зарницких. А если после этого на шахте случится выброс, то забирать будет уже нечего - и забирать будет никто, потому что шахту спишут.

Значит, выброс кому-то выгоден. Но не Зарницким: Зарницким выгодна шахта целая.

И вот это был первый вопрос, на который у меня не было ответа.

В обед ко мне подошёл Радыш. Он принёс воды, поставил ковш у ворота и сел рядом, как садится человек, у которого разговор есть, а торопиться некуда.

- Рука как? - спросил он.

- Терпит, - сказал я. - Кручу.

- Крути, - сказал Радыш. - А я тебе вот что скажу. Ты у нас человек новый, и спрашивать тебе не с кого. Так вот: дрожь в седьмом - она не первый раз.

Я перестал крутить.

- Когда ещё была?

- Месяц назад. И два месяца назад. И осенью прошлой. Всегда в одном месте: седьмой забой и соседний с ним. Всегда недолго: час, два. И всегда так, что людей в забое к тому времени мало.

- Почему раньше не говорили?

Радыш посмотрел на меня.

- А кому? Прохору? Так он знает. Косне? Косна знает. Артели? Артели знать не надо: артель за погту работает, а не за дрожь. А ты спросил - я сказал.

- А Хваль?

Радыш помолчал.

- Хваль в седьмом был каждый раз, - сказал он. - Каждый. Я это прошлой зимой заметил, когда он с десятником менялся. Думал - совпадение. Теперь не думаю.

- И что ты сделал?

- Ничего, - сказал Радыш просто. - Я коногон. Коногон везёт и молчит. Ты бы на моём месте тоже молчал: у тебя бумаг нет, у меня семья есть.

Он встал, допил воду и пошёл к лошадям. А я остался у ворота и понял ещё одну вещь, которую раньше не понимал: на этой шахте все всё знают. Каждый знает своё: Прохор знает про дрожь, Косна знает про чужую крепь, Радыш знает про Хваля, артель знает про долг. И никто не знает всего, потому что знание здесь не складывают, а прячут.

Складывать будет некому, если не начну я.

К вечеру я пошёл к Прохору.

Прохор работал в конторе, как работал всегда: сидел над дощечками и выжигал. Он не удивился мне и не обрадовался.

- Тебе чего? - спросил он.

- Журналы, - сказал я. - Старые. По шахте.

Прохор положил шило.

- Журналы в казне. В столице. У нас тут только текущий счёт.

- А у вас?

- А у меня то, что мне положено по должности, - сказал Прохор. - Счёт за двадцать лет. Дальше - в столицу, если тебе надо. А тебе зачем?

- Я хочу знать, что было сорок лет назад.

Надзиратель посмотрел на меня долгим взглядом, и я увидел в этом взгляде то, что видел в первый день: человек принимает решение, и решение ему не нравится.

- У меня нет, - сказал он наконец.

- А у кого есть?

Тут он помолчал. Потом встал, подошёл к сундуку в углу, порылся и вынул связку дощечек, перевязанных шнуром. Дощечки были старые, потемневшие, и края у них были стёрты, как стирается книга, которую читают много раз.

- Это не журнал, - сказал он. - Это моё. Я списывал. Двадцать лет списывал, когда в город ездил и в казне сидел. Уложение разрешает: надзиратель ведёт память шахты для себя. Для себя, понимаешь? Не для казны.

- Понимаю, - сказал я. - Для себя.

- И ты это никому не скажешь, - сказал Прохор. Это был не вопрос.

- Не скажу.

- Скажешь - я скажу, что ты украл. И ты будешь прав: ты украдёшь. - Он положил связку на стол. - Сорок лет назад - не ищи. Тут с тридцатого года. Дальше в столицу, а в столицу я не ездил.

Он вышел из конторы и закрыл дверь снаружи. Я понял: он дал мне час и дал себе алиби. Я сел за стол с дощечками.

Дощечки были берестяные - тонкие, гибкие, исписанные с обеих сторон. Писал Прохор мелко и аккуратно, и разбирать его почерк было трудно, но я разобрал: двадцать лет он вёл одно и то же. Год. Месяц. Сколько взято огневика. Сколько сдано. Сколько людей. Сколько леса. И в конце каждой строки - короткая пометка, вроде "порода спокойна" или "нижний сухой".

Я читал левой рукой, перекладывая дощечки, и читал долго, и к середине связки понял, что Прохор врёт.

Не мне - себе. Он двадцать лет списывал журналы и не замолчал бы главного. Он бы записал.

И он записал.

Пометка была на дощечке за тридцать первый год, в самом низу, под строкой о сдаче, и писал её Прохор не своим мелким почерком, а крупно, как пишут то, что боятся забыть:

"Нижний горизонт закрыт. Выработка прекращена по уложению. Причина закрытия в столичных книгах не указана. В книгах княжества записано: проведено Великое Остужение жилы сорок второго года. Остужение не закончено. Кто вёл - не указано. Знак хранителя снят с глубины триста сажен и ниже."

Прежде чем дойти до тридцать первого года, я прочитал все двадцать лет цифр, и цифры эти оказались интереснее пометок.

Я не рудознатец, но таблицы я читаю сорок лет, и таблица Прохора мне сказала вот что. За двадцать лет добыча огневика на "Шестерне" падала ровно и медленно: на два-три процента в год, без провалов и без всплесков. Так не бывает. Жила так не отдаёт. Жила отдаёт рывками: год жирный, год худой, а потом опять жирный, потому что пошла новая ветка. Ровное падение на два процента в год - это не жила. Это план.

И второе. Лес. Двадцать лет назад на крепь шло леса вдвое больше, чем сейчас, при том что выработка было меньше. Крепь двадцать лет назад ставили часто и густо. А сейчас - редко и тонко. И дрожь, и осадка, и гнилая стойка в вентиляционном квершлагге были не потому, что леса нет.

Лес был. Его перестали ставить.

Я сидел над берестой и чувствовал то же, что чувствуешь, когда читаешь чужой проект, в котором экономия на креплении заложена не по расчёту, а по приказу. Экономия на крепи - это либо глупость, либо подготовка. Если шахту собираются закрыть, крепь не ставят: зачем крепить то, что спишут.

А если шахту собираются... разбудить, крепь тем более не ставят. Зачем крепить то, что должно рухнуть.

Я прочитал это дважды. Потом ещё раз.

Великое Остужение.

Сорок лет назад на этой шахте остужали жилу. Не разработку прекратили - жилу остужали. Провели обряд, или работу, или бог знает что, названное Великим Остужением, и не закончили его. И знак хранителя - ту самую ладонь в круге, которую я видел на плите и на брёвнах, - сняли с глубины, и ниже этой глубины его нет.

А ниже этой глубины, за плитой, стоит чужая свежая крепь. И ведёт она туда, где Остужение не закончено.

Я сидел в конторе, держа в левой руке берестяную дощечку, и у меня в голове сошёлся первый по-настоящему страшный вывод за всё время.

Не "кто-то хочет забрать шахту". Не "ревизия врёт".

Всё было проще и хуже.

Кто-то наводил тепло на старую жилу, которую сорок лет назад не до конца остудили. И этот кто-то знал, что делает.

А шахта знала, что её не достудили.

Дверь открылась. Прохор вошёл, посмотрел на меня, посмотрел на дощечку в моей руке и побелел.

- Ты дошёл до тридцать первого, - сказал он.

- Дошёл.

Надзиратель сел на лавку. Он сидел и молчал так долго, что лампа на столе успела оплыть.

- Я думал, этого нет, - сказал он наконец. - Двадцать лет думал, что я это придумал, когда списывал. Что я устал и перепутал.

- Вы не перепутали, - сказал я.

- Я не перепутал, - согласился Прохор. - Значит, правда. - Он поднял голову. - Ты понимаешь, что ты теперь знаешь?

- Понимаю.

- Нет, не понимаешь. - Прохор говорил тихо и зло, и злость его была не на меня. - Ты понимаешь, что Зарницкие узнают, что ты это читал? Ты понимаешь, что я тебе дал? Ты понимаешь, что если ревизия найдёт эту дощечку, меня повесят не за должность, а за память?

- Не найдёт, - сказал я.

- Не найдёт, - повторил Прохор. - А ты пойдёшь и скажешь княжеской рудознатице. Скажешь - и она повезёт это в столицу, и столица пришлёт своих, и они откроют нижний горизонт, и... - Он сглотнул. - И они его откроют, Глеб. А его открывать нельзя. Сорок лет нельзя. Я старик, я здесь тридцать лет. Я видел, что бывает, когда жилу будят. Я видел один раз. Малый выброс. Они его малым называют.

Он встал, подошёл к столу и забрал у меня дощечку. Руки у него дрожали.

- Я тебе вот что скажу, - сказал он. - Ты человек чужой и без бумаг. Ты здесь три недели. Ты ничего не докажешь, потому что доказывать тебе нечем: дощечка моя, журнал в столице, а ты - никто. Тебя спросят: откуда знаешь? Ты скажешь: из памяти надзирателя. Тебя спросят: а надзиратель откуда? Ты скажешь: из книг. А книги столичные, и в них не указано. И всё. Конеч.

- А что надо, чтобы доказать? - спросил я.

Прохор посмотрел на меня, и впервые за всё время я увидел в нём не надзирателя, а человека, который тридцать лет держит крышку, под которой шевелится.

- Надо то, что можно показать, - сказал он. - Не рассказать. Показать. Тёплый камень на столе у князя доказывает больше, чем сто дощечек. Ихний камень против твоего слова. Ты понял?

- Понял, - сказал я. - Надо достать камень оттуда, откуда его не доставали сорок лет.

Прохор кивнул. И сказал то, чего я от него не ждал:

- Я тебе дам людей. Двоих. Не артель - артели нельзя. Двоих, которые не спросят. И лес дам, и железо дам. Но ты поймёшь, Глеб: если ты полезешь и ничего не найдёшь - я скажу, что ты украл дощечку. И ты сгниешь в яме, и я буду спать спокойно, потому что шахту не разбудят.

- А если найду?

- Если найдёшь - я скажу, что это я послал.

Он сунул связку за пазуху и пошёл к двери.

- Прохор, - сказал я.

Он обернулся.

- Почему вы мне верите? Вы же меня не знаете.

Надзиратель постоял в дверях, глядя на лампу.

- Знаю, - сказал он. - Ты четвёртый день ходишь с завязанной рукой и ни разу не попросил лёгкой работы. У нас в артели таких двое: Косна и ты. Косна старей. А ты - нет.

Он ушёл. Я остался в конторе один, с лампой и с дощечкой, которую он мне не оставил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.